

ПИОНЕР



СЕНТЯБРЬ

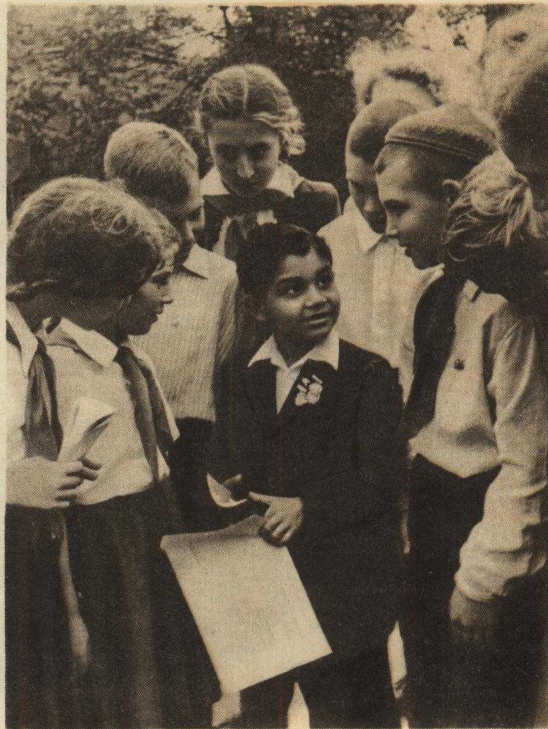
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», 1957 год

9



НА ПРАЗДНИКЕ ИГР. Этот праздник происходил в Московском Доме пионеров в дни фестиваля, и, понятно, ребята пригласили к себе гостей из разных стран. Вот один из них — Андре Рекюль — руководитель вайянов («Союз отважных», Франция). Пионеры повязывают ему поверх синего с красной каймой галстука вайянов свой красный галстук. А на снимках внизу московские ребята знакомятся со своими сверстниками, приехавшими на фестиваль из очень далеких стран: с индонезийцами братом и сестрой Агон и самым юным членом парагвайской делегации — Николасом Ковалетто.

Фото И. Гольдберга.





ПИОНЕР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ

Год издания 34-й



★ № 9 ★
СЕНТЯБРЬ
1957



В этом номере:

	Стр.
Звездный человек. — Научно-фантастический роман.	
А. Полещук. Рисунки Ф. Лемкуля	2
Как это было. (Хроника революционных дней)	15
Новые строки в книгу истории	17
Изгнание. — Рассказ Анатолия Мошковского. Рисунки П. Пинкисевича	20
Он хотел вас видеть такими. — С. Дзержинская	33
Из писем Ф. Э. Дзержинского	36
Рисунки на кости. — Макс Зингер	38
Нерпа и медведь. Охота на моржей. — Стихи Виктора Кеулькута. Перевел с чукотского Николай Стар- шинов	38
Мой друг слон. — Повесть Войцеха Жукровского. (Окончание.) Перевел с польского Я. Немчинский. Рисунки П. Кирпичева	40
Рассказы о Петре и его времени. — Сергей Алексеев. Рисунки П. Павлинова	49
Иностранный юмор	57
Борис Житнов. — Очерк Лидии Чуковской	58
Дяденька. — Рассказ Бориса Житнова. Рисунки О. Ко- ровина	63
Если б все часы на свете... — Стихи Р. Заславского	67
Почему и отчего	68
Спорт	70
Муравьиный народ. — П. Мариковский. Рисунки автора	72
Лесная семья. — Н. Алексеев	78
Страничка коллекционера	79
В часы досуга	80



На обложке:
рисунок П. Пинкисевича
«Рассказ об Октябрьских боях».

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

ЗВЕЗДНЫЙ ЧЕЛОВЕК

НАУЧНО-ФАНАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

А. ПОЛЕЩУК

Рисунки Ф. Лемкуля

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Все началось весной, в памятные всем жителям Подмосковья неистовые грозовые дни. Набегали неожиданно тучи, так же неожиданно проносился буйный дождь, и снова все успокаивалось, правда, ненадолго.

Коля готовился к экзамену по математике. Перед ним лежали часы, и он изредка на них поглядывал, вздыхая о том, что время идет слишком быстро.

Раскаты грома, доносившиеся издалека, не отвлекали Колю от занятий. Но вдруг что-то вспыхнуло, зашумел дождь, и все вокруг осветилось. Капли сплошным потоком заскользили по стеклу. Коля, став на стул, закрыл форточку, с сожалением взглянув на мокнущего под дождем Джека.

Снова ударила молния, и вслед за нею сразу же грянул гром. «А ведь сейчас очень точно можно определить, куда ударила молния», — подумал Коля. Во время следующей вспышки он заметил, что секундная стрелка как раз проходила верхнюю черточку циферблата. Пять секунд спустя раздался оглушительный удар грома. «Пять секунд!» — удивился Коля. Он умножил скорость звука в воздухе — триста сорок метров в секунду — на пять, и то, что получилось, заставило его вскопиться со стула: «Всего полтора километра!»

На расстоянии радиусом в полтора километра Коля знал все и всех.

— Ну и гроза! — сказала Анфиса Тимофеевна, мачеха Коли, быстро входя в комнату. Она тяжело дышала от быстрой ходьбы. — А страшно-то как! Все небо в огне.

— Пойду посмотрю, — сказал Коля. — Я скоро вернусь, только гляну, куда молния ударила...

Коля вышел во двор как раз в то время, когда снова ударила молния где-то совсем недалеко, за пригорком. Он успел заметить время. «Снова пять секунд! Опять в то же место ударила! Может быть, там громоотвод стоит? Все равно интересно, сбегает туда», — решил Коля.

Он быстро пошел по шоссе — главной улице поселка. Улица была безлюдна. Даже для ребятшек дождь был слишком сильным, чтобы можно было не обращать на него внимания.

Сразу же за поселком начинался лес. Снова три раза подряд ударила молния. Она била в одно и то же место в лесу. Коля пробрался сквозь чащу молоденьких сосенок. Новая молния выросла перед Колей невероятно высоким, уходящим в небо деревом.

Эта молния была последней. Гроза кончилась. Коля вышел на поляну. Перед ним открылся ши-



рокий коридор из поваленных деревьев. Вырванные с корнем березки, осинки, как косой срезанные, едва-едва шевелили свежими, только что распутившимися листочками, а над головой громко шумели мокрые ветви уцелевших деревьев.

Коля прошел еще немного, и перед ним открылась широкая, не меньше метра в диаметре воронка. Со дна ее поднималась тонкая струйка пара.

Коля наклонился над воронкой, глина подалась под его ногами, и он соскользнул вниз.

Лежа на спине, он ощущал влажную, холодную глину вокруг себя. Было похоже, что воронка создана одним ударом огромной силы. Коля попытался выбраться наружу, но тотчас же снова соскользнул вниз. Он повторил попытку и опять съехал вниз. Затаив дыхание, он прислушался: вдали рокотал гром... «Здесь что-то есть, что-то привлекает молнию», — подумал Коля. — Нужно скорее выбраться отсюда!» И он снова изо всех сил стал карабкаться по глинистой стенке воронки.

С большим трудом дотянулся он наконец до темнотвольной березки, наклонившейся над воронкой. Коля отогрел дыханием руки и, наломав веток, стал копать в глине ямки-ступеньки. Он поторопился, неловко ступил на первую сту-

пеньку и очутился еще ниже, чем раньше. Что-то больно ударило его в ногу. Ударило и обожгло. Коля ощущал то место, на котором он стоял, и сноп искр впился в его руку. Его рука наткнулась на какой-то твердый предмет. Он раскопал его и с огромным трудом вытащил камень; поднял его на вытянутых руках и положил на одну из вырытых ступенек. Еще несколько усилий, и Коля неожиданно для самого себя перевалил камень через край воронки. Вслед за камнем выбросился и Коля.

Вокруг спокойно шумел дождь. Коля поднял камень, но, почувствовав сильную боль в руках, снова ударили искры — выпустил камень из рук. Он побежал, углубился в лес. Позади ударила молния, ослепительный жгут змеей метнулся к нему, судорогой пробежал по его телу, и Коля упал...

Запах мокрой весенней земли — первое, что ощутил Коля, придя в себя. Солнце стояло низко над горизонтом. Стрелка часов стояла на цифре три. Когда Коля поднес их к уху, то не услышал знакомого тиканья. «Намагнитились», — подумал он. Он поднял найденный им камень и стал рассматривать его. Подсохшая на солнце глина местами осыпалась и обнажила темно-красную, сверкающую золотистыми точками поверхность камня.

Неподалеку послышались чьи-то шаги. Кто-то шел через осинник, шурша прошлогодней листвой.

— «Ты ждешь, Лизавета, от друга привета...» — задумчиво напевал мужской голос.

Коля поспешно бросил камень в кусты и прикрыл его плащом.

— Что ты здесь делаешь, юноша? — услышал он негромкий голос. Перед ним стоял высокий худощавый человек, кепка была надвинута на его глаза. — Где это ты так вымазался?

— Это — мое дело, — не глядя на незнакомца, ответил Коля.

— Конечно, конечно, что ты! — заторопился незнакомец. — Я, видишь ли...

Они помолчали.

— Ты здесь живешь? — спросил незнакомец. — Конечно, я имею в виду не лес, а вообще... близко?

— Не так уж близко, возле станции.

— Жаль... А ты ничего интересного не обнаружил сегодня в лесу?

— А что я мог обнаружить здесь? — с интересом спросил Коля. И этот интерес не остался незамеченным.

— В ночь с пятнадцатого на шестнадцатое, в два часа ночи. И именно в этом лесу... Ну, вот что, Михаил...

— Я Коля.

— Ах, Николай?

— Николай Ростиков, — неохотно сказал Коля.

— Очень приятно с тобой познакомиться, Николай Ростиков. Так вот что... Если что-нибудь узнаешь от местных жителей или, скажем, увидишь какое-нибудь необычное углубление в почве, позвони вот по этому телефону. — Незнакомец протянул Коле листок с напечатанным на нем номером телефона.

— Дмитрий Дмитриевич Михантьев, — прочел Коля вслух.

— Я хотел бы только предупредить тебя... Видишь ли, в нашей стране все упавшие на землю метеориты — небесные тела — объявлены государственной собственностью; каждый, кто нашел

метеорит, обязан отнести его в Комитет по метеоритам Академии наук.

— Если я что-нибудь найду, тогда... — спохватился Коля.

— Да, да, конечно... Ну, я еще поброжу, Николай Ростиков, пока!

«И как он догадался? — думал Коля. — Неужели я не имею права хоть на кусочек? Так я и отдам ему! Сначала сам исследую!»

— Николай! — крикнул Михантьев. — Ты мне сегодня позвони, ладно?

— Так я же сказал, если...

— Я понимаю, а все-таки лучше сегодня...

— Ничего я не нашел! — громко сказал Коля, но Михантьев уже повернулся к нему спиной и, подтянув быстрым движением руки голенище сапога, скрылся в кустах.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Коля завернул камень в плащ, обвязал сверток поясом и побрел домой.

Дома он налил в таз воды и вымыл камень. Искры больше не жалили Колю, а отмытый камень разочаровал его: он был похож на обыкновенный гранит.

«Интересно, — думал Коля, — этот ли камень ищет Михантьев? Видимо, придется его отдать. Нужно только распилить. Половину возьму себе, а половину отдам Академии наук».

Достал пилу-ножовку, легко пропилил до половины камня, а опилки все не было. «Как интересно! Стану физиком, выясню, почему нет опилок».

Опилки появились тогда, когда ножовка вошла в сиденье табуретки, на которой лежал камень. Камень был распилен, но не распался. Коля стукнул им о край табуретки — безрезультатно. Камень пропустил сквозь себя пилку и снова сросся. Только желтоватая полоска на его поверхности указывала на то, что он был распилен.

«Да это же открытие! Вещество, которое само себя восстанавливает!» Коля достал чернильный карандаш, сделал на камне надпись: «Откр. № 1» — и положил камень под кровать.

Сегодня в школе была консультация, и Коля, быстро переодевшись, схватил тетрадку и замок, чтобы запереть дверь, как вдруг увидел Анфису Тимофеевну, возвращающуюся с работы.

— Ты где это пропадаешь? В самую грозу бежал куда-то!

— Не сердитесь, тетя Фиса. Там, в кладовке, мои брюки. Вы их не трогайте. Я сам...

«Что он сделал с ними? — подумала Анфиса Тимофеевна. Она осторожно развернула Колины брюки. — Где же это он? И туда же — я сам! Сам! Попробуй, отчисти их!» Анфиса Тимофеевна вынесла брюки во двор, ножом соскребла подсохшую местами глину, потом растопила печь и повесила брюки на вьюшку. Сделав еще несколько неотложных дел, Анфиса Тимофеевна принялась за бочку.

Прошлую зиму Анфисе Тимофеевне пришлось обходиться без своей кислой капусты: не было подходящей бочки. Зимой один знакомый, работавший на рыбокомбинате, достал там бочку. Бочка, сделанная из светлой дубовой, точно пригнанной клепки, с толстыми железными ободьями, очень понравилась Анфисе Тимофеевне; только один недостаток был у нее: она пахла рыбой.



Анфиса Тимофеевна глянула и застыла от удивления.

«Ну что ж,— сказала Анфиса Тимофеевна,— вымоем!» И война была объявлена.

Анфиса Тимофеевна вымыла бочку холодной водой — и запах исчез. Однако вскоре он снова появился, и бочку пришлось вынести во двор, к ручью, только что сбросившему с себя зеленоватый ледок. Несколько дней подряд Анфиса Тимофеевна, надев резиновые сапоги, натирала бочку песком, уделяя этому занятию час, а иногда и больше. Через ручей был перекинут железобетонный мост, и знакомые Анфисы Тимофеевны, проходя по нему, спрашивали:

— Тетя Фиса, которую по счету бочку ты моешь?

Анфиса Тимофеевна отвечала, что бочка-то одна, но с «чертовым» запахом. Некоторые, заинтересовавшись запахом, спускались по тропинке к ручью, нюхали и говорили:

— Да это же рыбный запах!

И, если особенно не спешили, давали какой-нибудь совет.

К концу недели Анфиса Тимофеевна располагала десятком советов и закаленным желанием уничтожить этот запах. Начала она с крапивы. Долго пришлось ей собирать перезимовавшие стебли крапивы. Она наломала их, сварила нечто вроде щей и залила ими бочку. После этой операции у бочки появился еще и новый, какой-то «дикий» запах. Тогда был применен другой способ. Правда, смородинового листа ранней весной невозможно найти, поэтому после некоторого колебания Анфиса Тимофеевна наломала веток, просунув руку через доски соседского забора.

— Тетя Фиса,— говорил Коля,— плюньте на нее, на бочку эту!

— Что ты, всякое дело до конца доводить нужно! — упрямо возражала Анфиса Тимофеевна.

Затем последовали чай, щелок... Бочка была смазана подсолнечным маслом, выскоблена ножом, протерта железной сеткой.

Весь арсенал был брошен в последний бой. Лавровый лист и крапива, ветки смородины и черный перец, недельный остаток заварки из чайника и хвойный экстракт.

— Не так делаешь! — сказал кто-то Анфисе Тимофеевне. — Взяла бы булыжник, разогрела бы его докрасна и бросила бы в бочку с водой. Вода прокипит, и запах как рукой снимет!

И тут возникло неожиданное затруднение: никак не могла она найти подходящий камень.

Какова же была радость, когда она нашла то, что так долго искала, под кроватью у Коли. Она внимательно осмотрела камень и, засыпав в печь побольше угля, положила его в печь.

Камень долго не раскалялся, но в конце концов раскалился и стал светиться голубоватым, дрожащим светом.

Анфиса Тимофеевна осторожно столкнула его на совок и, выскочив во двор, бросила в бочку. Над бочкой поднялся густой столб пара. Анфиса Тимофеевна зажмурилась и осторожно втянула в себя воздух. Все запахи, смешавшись, ударили ей в нос. Она отшатнулась от бочки и, сдерживая тошноту, поторопилась домой.

Отдышавшись и выпив ковшик воды, Анфиса Тимофеевна снова вышла во двор; глянула на бочку и застыла от удивления: одной ногой в бочке стоял высокий человек, пар закрывал его лицо.

— Ты что это? — закричала Анфиса Тимофеев-

на. — Что это тебе, купальня?! В баню иди! В баню!

Человек, казалось, не слышал ее, он спокойно осматривался и, увидев Анфису Тимофеевну, шагнул к ней. Бочка опрокинулась, и человек упал к ногам Анфисы Тимофеевны, обдав ее неистребимым рыбным запахом.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Человек лежал на земле и внимательно снизу вверх смотрел на Анфису Тимофеевну.

— Ну, чего лежишь? — спросила она.

Незнакомец медленно встал и легко прыгнул. Его лицо оказалось совсем близко от лица Анфисы Тимофеевны, и она перепугалась: более странного лица ей никогда не приходилось видеть. Зеленые, без зрачков глаза; белое, без следа румянца лицо, пересеченное узкой желтой полосой, напоминающей шрам. Костюм незнакомца был сшит из желтых и красных лоскутков самых разнообразных оттенков. От него исходил дурманный запах всех специй, которые в разное время были налиты в бочку.

Вбежав в дом и захлопнув за собой дверь, Анфиса Тимофеевна прислонилась к косяку. Она испуганно задержала дыхание, когда почувствовала, что незнакомец ощупывает дверь. Потом она облегченно вздохнула: незнакомец зашлепал по лужам, обходя вокруг дома.

Не выпуская из рук кованую скобу, Анфиса Тимофеевна выглянула на минутку во двор и увидела Колю, скользящего по раскисшей глинистой дорожке.

Сорвавшийся с цепи и обезумевший от ощущения весны и свободы Джек раньше Коли заметил человека и ринулся к нему, воинственно задрав хвост.

— Не трогай! — закричала Анфиса Тимофеевна.

Но Джек вел себя странно: он кинулся к незнакомцу с невиданным остервенением, потом как будто в раздумье остановился, обнюхал его и, приподняв ногу, сделал собачьей отметку прямо на копытообразную обувь незнакомца.

— Ты кто? — спросил Коля, подойдя к незнакомцу.

Человек протянул руки к Коле, беззвучно открыл и закрыл рот.

Джек еще раз удивил Анфису Тимофеевну. Он бросился на грудь незнакомца, потянулся мордой к его лицу, тихо повизгивая. Незнакомец отступил от Джека, резко ударив его ногой. Джек отскочил в сторону, поскреб землю задними ногами и, подойдя к незнакомцу, потерся своей клочковатой шерстью о его колени.

— Уходите отсюда! — сказал Коля. — Что вам здесь нужно?

— Сбегай за милиционером, — сказала Анфиса Тимофеевна, всматриваясь в лицо неизвестного. Тот снова открыл рот, будто пережевывая что-то, и Джек беспокойно задвигал ушами.

— Откуда он взялся? — спросил Коля.

— Я тут бочку парила, — рассказывала Анфиса Тимофеевна. — Скорее заходи, он идет за тобой!.. Ушла на минутку домой, выпила ковшик воды, выхожу снова во двор, глянула, а он залез в бочку и стоит в ней. Потом выскочил, бочку перевернул и стал ко мне цепляться. Хорошо, что ты подоспел!

Она опять приоткрыла дверь. Джек не отходил от незнакомца.

— Ты только посмотри, Джек к нему, как к родному, ласкается,— сказала Анфиса Тимофеевна.— А ведь он чужих не любит. Коля, а может, он больной?

— Сумасшедший, наверно...

Анфиса Тимофеевна первая решила выйти из дому, за ней вышел и Коля. Незнакомец не обращал на них никакого внимания. Не шурясь, он смотрел на диск заходящего солнца.

Потом он перевел взгляд с Анфисы Тимофеевны на Колю и, быстро повернувшись к Коле, провел руками по его лицу.

— Сумасшедший! — крикнула Анфиса Тимофеевна и забарабанила по твердой, как камень, спине незнакомца.

Лицо незнакомца выразило удовлетворение. Он отпустил Колю.

— Где вы живете? — спросила Анфиса Тимофеевна.— Мы отведем вас домой.

Человек задумчиво, как будто что-то припоминая, покачал головой и, делая руками причудливые, но не лишённые изящества жесты, низко поклонился. Потом, высоко подпрыгивая, прошёлся вокруг Коли. Его походка, казалось, говорила: «Ну и молодец же я, ах, какой я молодец!» Джек в восторге прыгал рядом с ним, не отрывая глаз от его губ.

— А он, видно, не злой,— прошептала Анфиса Тимофеевна.

Она потянула Колю за рукав, и они пошли в дом, но незнакомец, сразу успокоившись, тоже пошел за ними следом.

Коля зажёл свет. Незнакомец прильнул к лампочке и нежно сжал ее в руке. Лампочка вспыхнула зеленым пламенем. С ее нитей брызнули веточки искр. Таким же образом исследовал человек и печь: он спокойно прикасался к горячей плите кончиками пальцев.

Дома Коля смог рассмотреть незнакомца внимательнее. Материя, из которой был сделан его костюм, напоминала лоскутное одеяло, но, присмотревшись, Коля увидел, что она состоит из маленьких ногтевидных чешуек. Ноги были обуты в округлую, твердо стоящую на полу обувь.

Внимание незнакомца привлек стол. Он оскалится и, схватив его за ножку, перевернул. Белая с цветочками чашка упала со стола и разбилась.

— Вот медведь! — сказала Анфиса Тимофеевна, с трудом водворяя стол на место.

Ужинать сели все вместе.

— «Картошечка варененька, с огурчиком солененьким, ап-чих-чих-чих, с переверточкой», — пропел Коля детскую песенку, когда Анфиса Тимофеевна открыла крышку кастрюли.

Незнакомец с важным видом вытащил из кастрюли картофелину, резко шлепнув Анфису Тимофеевну по руке, когда она попыталась ему помочь. Потом он протянул дымящуюся картофелину Коле и, внимательно на него посмотрев, зашлепал губами. То же самое он проделал с солонкой, нечаянно просыпав ее содержимое на пол. Ему очень понравилась вилка. Он согнул ее пополам, выпрямил и снова согнул и, когда она мягко распалась на две части, протянул одну половинку Коле, другую Анфисе Тимофеевне и опять задвигал губами, вопросительно на них поглядывая.

— Вилка, — сказал Коля, — вилка!.. Он, наверно, хочет спросить, как она называется.— Коля соединил две половинки вилки и несколько раз громко сказал: — Вилка, вилка!

Он ожидал, что незнакомец подтвердит его догадку, но этого не произошло.

— И сам не говорит и нас не слышит, — сказала Анфиса Тимофеевна, накладывая на тарелку картофель.— Как звать-то его?

— Просто... ну, просто Человек.

— Ешьте, Человек, — обратилась Анфиса Тимофеевна к незнакомцу.

Коля и Анфиса Тимофеевна принялись за еду. Человек, копируя их движения, отпил из рот картофелину, быстро ее прожевал, скривился.

— Горячая! Зачем же вы ее так сразу, не остудили! — сказала Анфиса Тимофеевна.

— А он не боится горячего, он плиту раскаленную руками трогал, — задумчиво сказал Коля.

— Сам не говорит, нас не слышит... Один, видно, Джек его понимает. Оттого он к нему и ластится.

— А может, и правда Джек его слышит? — сказал Коля.— Что, если я попробую записать его на пленку через усилитель?

Коля достал свое прошлогоднее увлечение — магнитофон, смахнул с него пыль, подключил старую, полуразобранную телефонную трубку и обрывком провода привязал ее к спинке стула, на котором сидел Человек. Трубка служила Коле микрофоном. Человек, видимо, не понимал, что от него хочет Коля; по-рыбьи заглатывая воздух, он следил за каждым его движением.

При прослушивании сначала не было ничего слышно. Потом в тихое жужжание магнитофона вплелись чьи-то шаги, короткий гудок паровоза... Трудно было определить, откуда он пришел: был ли записан или прозвучал только сейчас.

«Вдребезги разбил, и не склеишь», — раздался голос Анфисы Тимофеевны. Это она сказала во время записи, значит, магнитофон работал. «Конечно, — подумал притихший Коля, — раз я не слышу, так что же может записать магнитофон?»

Он перевел рычаг на ускоренную перемотку и встал. Человек, протянув руку к магнитофону, неслышно открывал и закрывал рот, а потом оттолкнул Колю и схватил усилитель.

— Осторожно! Током, током ударит! — только успел крикнуть Коля, но было уже поздно.

Всей пятерней незнакомец залез в монтаж усилителя. Быстро, будто играя, пробежал пальцами по деталям. Он безобразно притрагивался к оголенным концам сопротивлений, конденсаторов, оловянным слезкам пайки. Презрительно отпырив губы, вырвал сопротивление, что-то внутри усилителя щелкнуло, электрическая лампочка мигнула и погасла.

— Замыкание! — с досадой сказал Коля.

— Черт проклятый! — отозвалась Анфиса Тимофеевна.

Коля на ощупь отключил магнитофон, потом вышел в переднюю, покопался в пробках. Свет зажегся, и Коля зло сказал:

— Уходи, уходи, откуда пришел!

— Завтра и уйдет, — неожиданно сказала Анфиса Тимофеевна.— Куда сейчас, на ночь глядя? Пусть уж...

— Я работал, работал! — сказал сердито Коля.— Знаешь, как трудно собрать все детали магнитофона? А наладить! Ты что, с Луны свалился? — Коля взглянул на Человека.— С Луны свалился, — повторил он, будто пробуя на зуб эту мысль.

Человек успокоился. Притрагиваясь к окружающим его вещам, он неторопливо рассказывал по комнате.

— Спать его нужно уложить, — сказала Анфиса Тимофеевна. — Пьяный он, вот что. Отец твой, когда с нами жил, тоже иногда штуки выкидывал.

Она постелила Человеку на раскладушке и, потушив свет, улеглась. Коля вынес Джеку остатки щей и тоже лег.

— Коля, посмотри, у него глаза светятся, — неожиданно сказала Анфиса Тимофеевна, — зеленые, зеленые!.. Коля, а он не... шпион?

Коля замотал в темноте головой:

— Что вы, тетя Фиса, он не наш, совсем не наш.

— И я тоже говорю: не наш! И зачем это я, дура этакая, привела его в дом? Пускай бы шел своей дорогой.

Они наблюдали за Человеком, пока незаметно не заснули.

Когда Анфиса Тимофеевна проснулась, первая ее мысль была о том, что вчера произошло что-то необычное. Напрягая зрение (было еще темно), она всматривалась в тот угол, где стояла раскладушка.

— Коля, Коля, — позвала она, — проснись скорее! Наш гость ушел. Выйди в переднюю, посмотри, висит ли пальто, не стянул ли он чего.

Коля, звеня пряжкой пояса, оделся.

— Все цело, — донесся голос Коли из передней. — Вы спите, тетя Фиса, я пойду поищу его.

Коля вышел во двор. Густой утренний туман лежал в овраге. Непрерывно гудя, прошла московская электричка. «Воистину, — подумал Коля о машинисте, — туман...» Коля подошел ближе к насыпи и увидел вчерашнего незнакомца. «Он! Сидит на рельсе!» Коля забрался на насыпь и быстро пошел по шпалам, но Человек поднялся и стал удаляться от него неумолимой, ровной походкой.

— Эй, товарищ!.. Как вас? Человек! — крикнул Коля.

Сзади раздался низкий вой: сверля туман проектором, приближалась электричка.

Теперь Коля уже не шел — бежал, скользя на мокрых шпалах, спотыкаясь, а впереди скользил по рельсу Человек. Как будто задумавшись о чем-то важном, он не замечал опасности.

«Ужжж-а-а-а!» — рывкнула совсем близко сирена. Коля едва успел отпрянуть в сторону. Он закричал от ужаса, от сознания своей вины перед этим непонятным человеком. Удар, ослепительная вспышка света — и поезд остановился. Коля бросился вперед, споткнулся о шпалу и упал. Из первого вагона выскочили люди, бережно подняли Человека в вагон.

— По вагонам! — донеслось спереди.

Поезд медленно стал набирать скорость, Коля едва успел схватиться за поручни последнего вагона. Дверь оказалась запертой. На платформе следующей станции Коля прыгнул на ходу и, обгоняя движущийся поезд, перебежал в тамбур следующего вагона. С трудом проталкиваясь в тесно набитом людьми вагоне, он пробирался вперед. Однако переход между вагонами был занят каким-то шкафиком, а дальше электричка пошла без остановок.

Москва... Коля рванулся вперед, но сразу же попал в поток спешащих на работу людей. Впереди мелькнули носилки, тесное кольцо любопытных преградило путь. Коля успел только увидеть серо-голубую машину с красным крестом, которая медленно выехала через широко раскрытые ворота вокзала, увозя незнакомца.

Наконец подошло долгожданное число, двадцатое июня — день последнего экзамена. С утра хорошее настроение Коли было омрачено.

— Тетя Фиса, — спросил он, проснувшись, — а где все-таки мой камень, что под кроватью лежал?

— Какой? — ответила, гремя умывальником Анфиса Тимофеевна. — Тот, красный?

— Ну да, красный.

— Вставай скорее, поздно уж! Ишь, разоспался! По воду сходил бы, а то все я да я.

— Вы его взяли, да?

— Ну взяла, подумаешь! Будто твой камень денег стоит! Я тебе другой такой найду.

— Я из-за него, может, жизнью рисковал. Честное слово!

— Да разве я нарочно? Понимаешь, Коля, я им бочку парила...

— Вочку?

— Ну да, чтобы рыбий запах перебить. Раскалывала и бросила в воду. Потом, когда ты стал его искать, посмотрела я туда-сюда, а камня и след простыл. Наверное, рассыпался или тот, зеленоглазый, забросил его куда-нибудь.

— Тетя Фиса, тетя Фиса, что вы наделали!

— Что я сейчас могу сделать?.. Я не думала...

Так и окончился ничем этот разговор, который Коле пришлось вспомнить при самых невероятных обстоятельствах.

Коля экзаменовался во второй подгруппе, с двенадцати часов дня. Экзамен был по химии, предмету, который в классе любили и знали. Все тревоги и опасения были связаны с ассистенткой, преподавательницей химии из другого класса, молодой, энергичной и решительной. Вопросы, которые она задавала, не были сложными, но в накаленной атмосфере экзамена они звучали, как выстрелы в пустой комнате.

Вторая подгруппа, которой стало известно, что «молодая химичка режет», долго рассаживалась за сдвинутыми в угол лабораторными столами.

— Ну, кто первый? — спросила «страшная» ассистентка. — Кто самый смелый?

— Можно мне? — тихо спросил Коля.

Он подошел к столу, на котором были разложены маленькие квадратики. Билеты последнего экзамена...

— Пустых билетов нет, — сказал второй ассистент, преподаватель физики, повторяя древнюю, как мир, остроту.

Все заулыбались, а Коля, взглянув на билет с круглой школьной печатью, радостно сказал:

— Двадцать второй!

Этот билет Коля повторил последним и хорошо помнил его. Он вышел к доске и стал рисовать точки-ядра с бегущими вокруг них такими же точками — электронами. Он бойко ответил и на все другие вопросы, краем уха услышал: «Можно поставить четыре» — и вышел. Это сказала его учительница по химии, у которой Коля был четверочником, правда, твердым, но четверочником.

«Ну, четыре так четыре», — подумал Коля. О медали не могло быть и речи: подводили другие предметы, в основном за девятый класс.

Коля разыскал Виталия и вместе с ним вышел из школы. Под баскетбольным кольцом, раз за разом забрасывая мяч в кольцо, прыгал Борис Рыбаков, комсорг их класса. Они присоединились к игре, и не прошло двадцати минут, как экза-

мен стал далеким, кровь стучала в висках, все трое тяжело дышали.

Кто-то позвал Бориса, и он, схватив мяч, убежал. И тогда Коля, наклонившись к Виталию, сказал:

— Виталий, дело есть... Пойдем ко мне.

Они спустились в овраг, подошли к дому. Анфиса Тимофеевна в этот день не работала, возилась у плиты, которую в свое время собрал Коля из обрезков железа, старой чугунной плиты и водосточных труб. Плита была похожа на катер с длинной трубой, из которой валил дым.

— Наверно, четыре, — ответил Коля на вопрос Анфисы Тимофеевны.

— Почему же четыре?

— А я у нее никогда пятерок не получал. Как будто все ответил...

— Ну, а ты, Виталий? Слыхала я, медаль получишь?

— Нет, не получу, да она мне и не нужна, — ответил Виталий. — Я все равно в любой институт сдам.

— Сдаст, — подтвердил Коля, и в его голосе, может быть, только любящая Анфиса Тимофеевна смогла уловить маленькую, совсем маленькую зависть.

— Виталий сдаст, — продолжал Коля, — он умеет отвечать. Я тоже иногда как будто и знаю, а ответить не сумею. Виталька напористый...

Ребята вошли в дом, а Анфиса Тимофеевна тяжело опустилась на скамейку у плиты. Все, о чем она мечтала, свершилось. Она, малограмотная женщина, поставила на ноги хорошего парня, и вот он, взрослый, о чем-то своем толкует с Виталием, которого она тоже знала мальчишкой. Она видела, что мешают им, но не обижалась на них; на сердце было как-то по-особенному спокойно. На мгновение мелькнуло: «А кто ты ему?.. Мать!» — уверенно ответила она сама себе.

С Виталием Коля делился всем и всегда, а Виталий, несмотря на самые убедительные доказательства, говорил только «может быть»...

И это его неверие удерживало Колю от рассказа о Человеке. Может быть, Коля так и не открыл бы Виталию свою тайну, если бы тот не предложил ему принести на выпускной вечер свой магнитофон.

— Мы здорово поем всем классом, вот ты и запишешь, на память.

Коля принес магнитофон, поставил его на стол, и они, поминутно отнимая друг у друга отвертку, стали его просматривать. Коля впалял вырванное Человеком сопротивление, поправил свернутую набок головку записи, воспроизведения и включил магнитофон. Динамик спокойно гудел, лента перематывалась, но записи не было слышно. Потом раздался уже знакомый Коле гудок паровоза.

— Работает, — сказал Коля, протянув руку, чтобы выключить магнитофон.

И вдруг в динамике возник какой-то странный звук. Коля насторожился. Из динамика понеслись то гневные, то радостные звуки. Кто-то говорил на незнакомом языке. Эта гортанная, свистящая речь ничем не напоминала русскую. Вскоре она оборвалась.

Коля подождал, пока кончится пленка, потом перематывал ее и, заложив кусочком бумаги то место, с которого начиналась удивительная речь, поменял бобины местами. И снова раздалась непонятная речь.

— Ну, я пойду — сказал Виталий. — Понимаю, секрет...

Коля догнал Виталия у шоссе.

— Ты пойми, Виталий, тут такое дело... В общем, был у нас один человек. Очень странный, такой странный, может быть, он из другого мира...

— Может быть, — сказал Виталий, и Коля, огорченно махнув рукой, побрел домой.

— Тетя Фиса, — сказал он. — Человек-то наш говорил! Я его записал!

— Да ведь ничего слышно не было!

— А вот послушай. — Коля включил магнитофон и прогнал пленку справа налево и слева направо.

И тетя Фиса, наморщив лоб, уверенно сказала:

— Он... Такому так и говорить!

ГЛАВА ПЯТАЯ

В палате было трое больных. У стены, повернувшись к ней лицом, лежал привезенный из тайги охотник. На средней койке головой к большому окну беспокойно ворочался старик с резкими складками-морщинами возле носа и маленькими светлыми глазами. Третьим был Человек, неожиданно потерянный Колей.

И старик и охотник лежали уже не один день и вели нескончаемую беседу. Правда, говорил только старик. Лежащий у стены охотник с забинтованной головой совсем не мог говорить, он только шевелил изредка левой рукой. Правая его рука была короче левой почти на кисть.

— Отходил ты, отходил ты, — вздохнул старик. — Теперь тебе только в городе жить. Можно сказать, сама судьба предупредила. Это она оторвала тебе руку и сказала: «Больше не суйся!»

В коридоре раздался шум, и в сопровождении сестры в палату вошел обритый наголо человек лет сорока. Поздоровавшись со стариком, он подошел к охотнику, темными от йода пальцами тронул его за плечо.

— На меня не обижайся, — сказал он охотнику. — Что делать?.. Не смог сохранить руку, никак не смог. Да и никто не сохранил бы. А мы сейчас повернемся, повернемся. — Он осторожно, но, видимо, сильно обхватил больного и повернул его к себе.

— Не унывай, брат! У нас с тобой еще не все дела сделаны!

— А я ему что говорю? — вмешался старик. — То же самое! Только зря вы на него время тратите. Лежит себе, и пускаться лежит. Обидно даже за вас! Тяжелый он человек. Излагаю ему, что к чему, а он пальцы в кулачишку сожмет, аж посинеет кулачишка-то. Разве от него дождешься благодарности?

— Ничего, Серафим Яковлевич, скоро мы ему повязочку снимем, он вам все объяснит... Ну, а как ваши дела? На поправку дело идет?

— Какое там! Волит... Болит, и все.

Сестра сняла повязку. Борис Федорович наклонился над Серафимом Яковлевичем, внимательно осмотрел швы.

— Как он лежит, сестра? — спросил он.

— Крутится, — вздохнула сестра, избегая взгляда Серафима Яковлевича.

— Книжку ему нужно дать, сестрица.

— Хотя бы книжку! Перемолвиться словом не с кем. Слева немой, справа — и того хуже.

— Именно, хуже, — сказал Борис Федорович и подошел к третьей кровати.

— Вот, вот, — продолжал Серафим Яковлевич, —

мало того, что носом свистит, так еще по ночам светится. Подумать только! Будто у него в брюхе электросваркой кто занимается. Чудеса! Какой уж тут покой! Опять-таки медицина...

— Все медициной недовольны. Ваше счастье, что пенициллин открыли.

— Это вы оставьте, насчет пенициллина. Все говорят, у вас рука искуснейшая, а как взглянете, кровь сразу останавливается.

Борис Федорович сделал такой жест, будто отогнал назойливую муху, и присел на табурет возле третьей койки.

— Как температура?

— Возьмите, Борис Федорович.— Сестра протянула температурный листок.

Борис Федорович встал:

— Пятьдесят градусов?! Непостижимо! Чем же вы мерили?

— Брала у биохимиков в лаборатории. На триста градусов термометр. Уж как они допытывались, зачем мне нужен такой термометр! — улыбнулась сестра.

Борис Федорович ощупал тело больного, отдернул пальцы.

— Тяжелый шок, до сих пор не пришел в себя. Да у него, я вижу, и анатомические расхождения. Вот эта мышца... бицепс... А вот эту, на груди, вы знаете, сестра? И я не знаю! Три года работал ассистентом на кафедре анатомии — и не знаю!

— Отклонение от нормы? — робко спросила сестра.

— Какие там отклонения! Новые, совершенно новые мышцы! Следовательно, и кость должна быть другой! А почему вы, сестра, не раздели его, почему не сняли этот шутовской балахон?

— Снимали, разрезали, а он сразу восстановился. Мы еще раз разрезали, а он опять...

— А почему я ничего не знаю об этом?

— Вы, Борис Федорович, не поверили бы, накричали бы.

— Вот что, попросите-ка сюда рентгенолога. Пусть поднимется...— Борис Федорович глубоко задумался.

— Григорий Матвеевич пришел, — сказала минут через пять сестра. Она тяжело дышала: рентгеновский кабинет был на несколько этажей ниже.

— Григорий Матвеевич, — обратился Борис Федорович к рентгенологу, — посмотрите-ка. Обратите внимание на общую «архитектуру» организма... И откуда он, неизвестно. Пришел ли он со дна моря, сошел ли с каких-нибудь неизведанных ледников, но ясно одно: эволюция пошла по другому пути, это совсем другое решение.

— Возьмем его вниз, — предложил Григорий Матвеевич. — Что вас интересует?

— Череп, в первую очередь череп, потом попробуйте снять таз... Сестра, вызовите санитаров. Больного в рентгеновский кабинет.

— Человека нужно от смерти спасать, — тихо сказал Серафим Яковлевич. — А не обсуждать божественные решения.

— Так то человека, — откликнулся Борис Федорович, и в палате наступила тишина.

Серафим Яковлевич замолчал, замер у стены охотник.

— Как?! Так что же вы его здесь держите? Как это можно людей с нечеловеком в одну палату класть!

* * *

В рентгеновском кабинете был сумрак. Пораженные необычно малым весом больного, санитары положили Человека на твердый, покрытый линолеумом стол.

— Начнем, — сказал Григорий Матвеевич и щелкнул выключателем на пульте рентгеновского аппарата.

Светящаяся в темноте стрелка поползла вверх, и сразу же вокруг одного из концов горизонтальной рентгеновской трубки появился свет. Григорий Матвеевич увеличил напряжение, по пластмассовому цилиндру трубки с треском поползли синие искры. Григорий Матвеевич выключил установку и зажег свет.



В сопровождении сестры в палату вошел человек лет сорока...

— Что-нибудь не в порядке? — спросил Борис Федорович.

— Нет, нет, дело не в аппарате! — ответил Григорий Матвеевич. — Миша, протрите, пожалуйста, спиртом трубку. Не жалейте, не жалейте, Борис Федорович еще нам выпишет! — сказал он лаборанту.

Трубка сохла минут пятнадцать. Борис Федорович подсел к столу и стал рассматривать рентгенограммы, накладывая их на ярко освещенное матовое стекло.

— Вот он, охотник, — сказал Борис Федорович. — Вы как раз ушли в отпуск, когда к нам его на самолете доставили.

— Медведь, говорят? — спросил Григорий Матвеевич.

— Да... Ружье осечку дало, медведь на него и навалился. Снял скальп, а потом руку правую стал жевать. Пока жевал, наш-то вынул левой рукой нож и вспорол мишке брюхо снизу вверх. Убить убил, а вылезть из-под него не смог: сил не хватило... Двое суток пролежал один в тайге, пока не нашли.

— Рука как?

— Кисть отняли. И челюсть дьявол мохнатый прихватил. Вот рентгенограмма, видите?

— Отохотился... Ну, теперь можно приступить.

Григорий Матвеевич снова включил аппарат, и снова корона искр окружила трубку.

— Миша, — сказал после раздумья Григорий Матвеевич, — отнесем-ка больного в сторону.

Аппарат сразу стал работать нормально.

— Есть, — сказал Григорий Матвеевич. — Работает. Кладите больного.

Миша и Борис Федорович поставили столик с Человеком на место. Григорий Матвеевич включил аппарат, и сразу же раздались частые хлопки искр.

— Рентгенограмму этого больного получить нельзя! — уверенно сказал Григорий Матвеевич, вытаскивая из-под головы Человека кассету. — Может быть, дело в его странной одежде, а может быть... — Он не договорил. Человек медленно открыл глаза. В полутемном кабинете они светились двумя яркими зелеными огнями, далекими и загадочными. — Э, нет, это в нем самое дело!

— Но что же происходит с ним? — спросил Борис Федорович.

— Воздух становится электропроводящим, ионизируется, что ли, — в раздумье проговорил Григорий Матвеевич.

Борис Федорович резко повернулся и пошел к двери.

— А как же спирт? — спросил Григорий Матвеевич.

Борис Федорович не ответил.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Коля набрал номер телефона, который ему дал Михантьев. Трубку тотчас же сняли.

— Этот номер мне дал Михантьев! — крикнул Коля в трубку. — Я его в лесу встретил, и он мне сказал...

— Михантьев дает этот номер всем! Лучше всего приезжайте. Наш адрес: улица Восьмого марта, семьдесят, — ответил женский голос, и трубку повесили.

Мысли Коли были в беспорядке. Исчезнувший камень, незнакомец, его страшная гибель,

звуки чьей-то удивительной речи, которые он записал, — все это сбивало с толку, и Анфиса Тимофеевна, исподтишка наблюдавшая за Колей, сама предложила ему надеть сегодня новый полотняный костюм, который она хотела преподнести ему к выпускному вечеру.

— Сходи куда-нибудь, — сказала она.

И вот он в институте.

— Вы к Дмитрию Дмитриевичу? — спросила Наталья Степановна, секретарь-машинистка.

— Да, — сказал Коля.

Она подняла трубку внутреннего телефона и сказала номер.

— Дмитрий Дмитриевич? Вот здесь у меня сидит один юноша. Говорит, что встретил удивительного человека, горячего... Нет, он не сумасшедший... Нет, я с ним беседовала... Да, симпатичный... Нет, не влюбилась: он еще маленький... Все в порядке, сейчас придет, — сказала Наталья Степановна и, выдвинув ящик стола, погрузилась в чтение какой-то книги.

Дверь широко распахнулась. Вошел Дмитрий Дмитриевич. Тогда, в лесу, Коля не смог его рассмотреть и, пожалуй, не узнал бы, встретившись с ним на улице. Худой, носатый, стремительный, он сразу понравился Коле.

— А, Николай Ростиков? Отменай пропуск, и пойдем потолкуем.

Они пришли в такую же, как и у Натальи Степановны, узенькую комнату. Сбоку была дверь в лабораторию; через узкую щель Коля успел заметить какой-то причудливо изогнутый прибор, выкрашенный серо-голубой краской. Донеслось жужжание, запахло обгоревшим металлом.

— Показывай метеорит, — сказал Дмитрий Дмитриевич.

— Откуда вы знаете? Я потерял его...

Вначале путаясь в ворохе происшествий, потом все более четко, Коля рассказал все.

— Не верить не хочу. Мне приятно верить... Действительно, тебе меня обманывать незачем. Ведь так? — после долгого молчания сказал Дмитрий Дмитриевич. — Но мне кажется, сейчас нужно отделить твою находку тогда, в лесу, от встречи с этим твоим Человеком. Камень, пропавший камень... Где он, что с ним? Исчез, растворился в бочке, рассыпался? Его-то я и искал... Нужно будет осмотреть с величайшей тщательностью воронку.

— А разве Человек вам не интересен?

— С Человеком сложнее... Я не биофизик и, сказать по правде, не очень... А, Коля?

— Не верите?..

— Ты говоришь, что он горячий? А температуру измерял?

— Нет, но стоит только прикоснуться к нему...

— Этого мало! Если ты настаиваешь, я его, конечно, поищу, но найти его, пожалуй, трудновато: не говорит, не слышит и вдобавок горячий...

— Он говорит. Я записал на пленку.

— Записал? Но ты же сам говорил!..

— И все ж таки записал! Только не пойму, как это получилось. Я записывал его, и ничего не было слышно, а потом, через несколько дней, включил, а там оказалась запись. Я и пленку принес. — Коля поставил магнитофон на стол, включил его, и, когда грохочущая речь незнакомца наполнила комнату, Дмитрий Дмитриевич сказал:

— Задом наперед записал! Ну-ка, дай мне! — Дмитрий Дмитриевич отключил мотор и стал проворачивать бобину от руки в одну и другую



Путаясь в ворохе происшествий, Коля рассказал все...

сторону, но речь была по-прежнему неразборчива.

— Только в одном случае возможен этот эффект... Скажи, Коля, при перемотке могла быть включена кнопка записи?

— Она у меня все время включена.

— Знаешь, что ты записал? Ты записал ультразвук! У тебя скорость движения пленки сантиметров двадцать в секунду. Так... А скорость перемотки значительно больше.

— Два метра в секунду, — подсказал Коля.

— Погоди! — Дмитрий Дмитриевич быстро что-то подсчитал на листке бумаги. — При обычной скорости записи ультразвук не запишется, он записался при перемотке, когда скорость возросла в десять раз. Когда ты воспроизвел, то получил уже звук, а не ультразвук. Не понимаешь? Ведь когда тормозишь патефонную пластинку, все звуки становятся ниже.

— Да, да, я знаю! Поет певича, а если затормозить, то получается мужской голос...

— Правильно... Твой Человек говорит, только говорит он ультразвуками, как это ни странно, если только это все не фокус. А, Коля?..

— Что вы? Разве я обманщик? Я сам не понимал, почему записалась его речь. Но кто же он? Кто этот Человек?

Дмитрий Дмитриевич сделал отметку в Колином пропуске, расписался в большой затрепанной тетради и сказал, что идет в библиотеку. Наталья Степановна при этом загадочно улыбнулась.

— А как же мальчик? Он мне говорил про какого-то горячего человека. Все чепуха, конечно?

— Еще трудно сказать, — ответил Дмитрий Дмитриевич.

В вагоне метро Дмитрий Дмитриевич спросил Колю:

— Тебе от отца не влетит, если к обеде опоздаешь?

— У меня нет отца...

— А с кем же ты живешь?

— У меня мачеха. Она хорошо; очень хорошо ко мне относится. Вот, костюм сшила... И вообще любит меня. Отец пропал во время войны.

Они подошли к огромному, занимающему полквартиры дому, поднялись на третий этаж. Дмитрий Дмитриевич открыл дверь и пропустил вперед Колю.

В кабинете Дмитрия Дмитриевича был беспорядок. На столе, возле телефона, лежал набор осциллографа. Снятый с него корпус стоял в стороне и уже успел наполниться книгами, мотками проводов. Дмитрий Дмитриевич отыскал телефонную книгу и стал набирать номер за номером.

— К вам не привозили больного, чрезвычайно горячего, с копытообразной обувью?

— Как фамилия? Кем приходитеесь больному? — слышал Дмитрий Дмитриевич в ответ.

Он не мог ответить на эти вопросы, и в трубке слышались торопливые сигналы отбоя. Наконец, когда список клиник почти истощился, ему ответили:

— Да, у нас.

— Нужно иметь нормальных родственников, а не печку! — сказал подошедший к телефону хирург. — Плохо, очень плохо с ним, сильный шок. Приезжайте! — Трубку повесили.

— Человек ваш жив, — сказал Дмитрий Дмитриевич, — да и вообще существует на свете. Мы поедем к нему завтра же.

Сидя в электричке, Коля думал о Человеке и не жалел о том, что раскрыл свою тайну.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В воскресенье Борис Федорович отправился со своим сыном Виктором в Политехнический музей для выполнения важной операции. Виктор заболел «атомной» болезнью. Он приставал с вопросами к отцу, замучил своего школьного преподавателя физики, уже несколько раз побывал в музее, где его особенно привлек макет атомной электростанции. Виктор решил его скопировать. Однако ему не позволили зарисовать макет: для этого нужно было какое-то разрешение. Тогда Виктор обратился за помощью к отцу.

— Ты постоишь возле меня, а когда покажется кто-нибудь из служащих, ты крикнешь: «Атас!»

— Атас?.. Странное слово.

— Да, папа, в твоё время кричали: «Шухер!»

Борис Федорович сердито сдвинул брови, но все же дал согласие.

Они поднялись на третий этаж музея, и Виктор принялся зарисовывать макет атомной станции, а Борис Федорович рассматривал другие экспонаты, выставленные в зале. Его внимание привлекла модель паровоза. Экскурсия отнесла Бориса Федоровича, но он успел рассмотреть, что экскурсовод поворачивал какой-то кран за паровозом и паровоз начинал резво вращать колеса и свистеть в лихой милицейский свисток.

Когда экскурсия прошла, Борис Федорович тоже открыл краник, но тут из своего угла выбежал консультант и сказал, что «это возмутительно».

— Простите, но пар...

— Здесь нет никакого пара! Здесь сжатый воздух! — И консультант, полускрыв глаза, немедленно влез в такие технические дебри, что Борис Федорович с опаской отошел от него и поискал глазами Виктора.

Сына нигде не было...

— Вы не видели мальчика? — спросил он консультанта.

— Того, что рисовал макет? — обиженно сказал консультант. — Я все видел... Ваш мальчик там! — Он указал на черный занавес, закрывавший вход, к которому вела широкая деревянная лестница.

Борис Федорович поднялся по лестнице и хотел было отдернуть занавес, но консультант его не пустил.

— Туда нельзя! Там лекция! — сказал он. — Лекция по ультразвуку!

— По ультразвуку? — заинтересовался Борис Федорович. — А кто читает?

— Профессор Кучерявый Евгений Леонович! Вы, по-видимому, не следите за нашими афишами...

Лекция окончилась. Первым из-за занавеса появился Виктор и, сбегав с лестницы, бросился к отцу.

— Понимаешь, папа, он говорил, что можно с помощью ультразвука дать алюминий! Как это для меня важно! Ультразвук разбивает тончайшую пленочку окисла, которая мешает спайке, и можно медную проволочку припаять прямо к алюминиевому шасси.

Они отошли в сторону, пропуская поток слушателей. Последним появился лектор, низенький человек с лысой, похожей на аккуратный кубик головой. Он сошел вниз в окружении двух старичков и одного мальчика лет двенадцати. Как понял Борис Федорович, все трое были изобретателями.

— Изложите письменно, — говорил им Евгений Леонович. — Изобретения требуют внимания...

— Какие там изобретения! — заскромничали старички, а щеки мальчика вспыхнули.

«Специалист по ультразвуку, — подумал Борис Федорович. — Это находка! Не о нем ли мне говорил профессор Стужин?..»

— Евгений Леонович, — обратился он к профессору. — Я к вам.

— Да? С кем имею честь? — спросил Евгений Леонович.

— Мне много рассказывал о вас Герман Павлович, мы отдыхали с ним в Заречье. Я вот с сыном...

— Это ваш отрок? Очень приятно. Чем могу быть полезным?

— Я, видите ли, профессор, хирург. И вот у

меня в отделении произошел удивительный случай. К нам был доставлен больной с травмой, полученной на железной дороге. Глухонемой. Родных и близких никого, кроме двух очень странных субъектов, которые настаивают на том, что человек этот говорит, но говорит ультразвуками. Вот мне и хотелось...

— Шарлатанство, — рассмеялся Евгений Леонович, — типичное шарлатанство! Гоните их в шею! Послушайте меня, опытного в таких делах человека... Известно несколько случаев, когда живые существа продуцируют ультразвуки. Некоторые виды кузнечиков и, конечно, летучая мышь, гвоздь популярных лекций, которая действительно имеет нечто, напоминающее ультразвуковой локатор. Но человек?.. А кто они, эти «специалисты»?

— Один из них представился кандидатом физико-математических наук, другой — мальчик, скорее всего лаборант. Они очень заинтересованы этим случаем.

— А как фамилия этого кандидата? Ах, Михантьев? Дмитрий Дмитриевич? Это... — Евгений Леонович мгновение колебался. — Он кандидат, совершенно верно, но он не котируется. Вечно у него некрасивая переписка с рецензентами!.. Да, вы сказали, что Дмитрий Дмитриевич, то есть этот Михантьев, что-то записал?

— Не знаю подробностей, но он так утверждает.

— Прекрасно! А другие странности?

— Я провел несколько консилиумов, но безрезультатно. Одежду снять нельзя. Пульс невероятный, кожа подверглась ороговению, игла шприца сломалась при попытке сделать укол...

— Я с удовольствием займусь этим, — сказал Евгений Леонович. — Тем более я еще не в отпуску. Будьте добры, ваш адресок.

Борис Федорович вырвал листок из своей записной книжки, написал адрес клиники и протянул Евгению Леоновичу.

— Можете приступить завтра с утра, — сказал он.

— Да, да. Предупредите, что я приеду с помощником, двумя осциллографами и стабилизатором напряжения, — значительно проговорил Евгений Леонович. — Рад познакомиться... Милый у вас мальчик, очень милый! Физикой интересуется? Да, юношество принадлежит нам, нам, физикам. Как тебя зовут? Виктор? Мы еще обязательно побеседуем, обязательно...

На следующее утро Евгений Леонович появился в клинике в сопровождении трех помощников, которые несли оборудование и провода.

Они поднялись наверх. Обстановка клиники действовала на Евгения Леоновича удручающе. Борис Федорович встретил их у дверей палаты и несколько приободрил Евгения Леоновича.

— Я вам мешать не намерен, но только помните, что больной еще слаб. Пока только проверьте, правду ли говорил Михантьев. А что это за приборы у вас? Я обязан знать во избежание разных нареканий.

— Вот катодный осциллограф, а это шлейфовый. Катодный осциллограф позволит только просматривать на экране форму колебаний, а в шлейфовом мы заставляем колебаться маленькие зеркальца — их здесь восемь. Зеркальца отклоняют световые лучи на фотопленку.

— Ах, так он сродни кардиографу!

— Да, тот же принцип. В остальных ящиках вспомогательное оборудование.

— Как будем записывать? — спросил Евгений Леонович у своего помощника, Семена Константиновича, когда тот обрел дар речи: Человек произвел на всех громадное впечатление.

— Сначала посмотрим на экране катодного осциллографа, потом...

— А потом записывайте, сейчас же записывайте!

Евгений Леонович разволновался. Слишком откровенное стяжательство, популярные брошюры, многочисленные лекции на темы, в которых он не был специалистом, бросали на него нежелательную тень. Однажды он случайно услышал такой разговор: «Очень уж Евгений Леонович увлекается денежными делами! Его последняя брошюрка ни по методу изложения, ни по содержанию не нова...»

И вот сейчас «мелочи», лежащие на его пути в академию, могли быть побеждены, отвергнуты. Перед ним было настоящее, большое открытие. «Михантьев не дурак, нюх у него собачий!» — думал Евгений Леонович.

— Напишем в «Журнал экспериментальной и теоретической физики», в «Журнал физиологической акустики», в «Акустический журнал», в журнал «Биофизика», — шепотом перечислял он, потирая руки.

— Ну как? — спросил неожиданно вошедший Борис Федорович. — Есть что-нибудь?

— Пока ничего особенного, — грустно сказал Евгений Леонович, искоса наблюдая частокól ультразвуковых частот на экране осциллографа. — Надеемся, надеемся...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В то время, как Евгений Леонович нетерпеливо просматривал в своей фотолаборатории еще мокрую пленку с заснятыми кривыми, Дмитрий Дмитриевич и Коля стояли в вестибюле клиники с магнитофоном, усилитель которого был специально выверен и опробован. Их лица вытянулись от огорчения, когда санитарка сказала:

— Зря ходите. Насчет научных работ семнадцатая палата уже обеспечена. Приказано больше никого не пускать.

— Как? Борис Федорович говорил... — растерянно пробормотал Дмитрий Дмитриевич.

— Там уже были. С большими такими чемоданами, черными ящиками. Один очень на телевизор похож.

— А экран, с какой стороны экран?

— Экран? Это окошечко, что ли?

— Да, да, допустим, окошечко! Где оно в этом ящике?

— Вот тут. — Санитарка показала на Колином магнитофоне, где помещался экран.

— С торца! — воскликнул Дмитрий Дмитриевич и сжал кулаки. Он даже зажмурился, его лицо покрылось лучиками морщинок. — Это осциллограф!

— Так что, товарищи, идите... А ты куда, мальчик? — загородила путь Коле санитарка. — Ишь, какой шустрый, прямо так и лезет! Нехорошо так! Больной

очень слаб, и Борис Федорович твердо наказал: никого к нему не пропускай.

Санитарка ушла.

— Н-да, — протянул Дмитрий Дмитриевич. — Ну, что ж, придется отложить, пока больному станет лучше. А теперь жаль, но ничего не поделаешь, пойдем домой!

— Идите, я еще побуду...

— А что здесь делать?.. Ну, я пойду. Прощай, Коля.

— Не хочу прощаться. Я его хочу видеть и увижу! Я хочу научиться говорить на его языке, расспросить его хочу...

Когда Дмитрий Дмитриевич ушел, Коля поставил магнитофон на пол и сел на него, положив голову на руки. В вестибюле было прохладно. Он не спал, но все звуки, казалось, приходили из бесконечной глубины.

— Вы, голубушка, из какой палаты? — услышал Коля.

— Я? Из семнадцатой. Спасибо вам за халат.

Коля встрепенулся. Высокая девушка протягивала халат санитарке. Его внимание привлекла брошь в виде большой черной коровы. «Девушка с коровой, ну и придумала! — подумал Коля. —



— Послушайте, — крикнул Коля, — послушайте, вы мне нужны!

Да она и сама чем-то корову напоминает. Огромная, лобастая...» Коля подумал, что у этой девушки нет вкуса, что девушка гораздо крупнее его, Коли. Но какое-то, пока еще неосознанное чувство заставило его окончательно очнуться от дремоты. «Семнадцатая палата! Там лежит Человек! Санитарка сказала: семнадцатая палата научной работой обеспечена...»

Коля был уже на ногах. Девушка приводила в порядок сумку с банками и свертками.

— Я помогу вам, — сказал Коля, дотрагиваясь до ее сумки.

— Спасибо, — ответила девушка, — пожалуйста.

Коля схватил сумку за ручки. Девушка, мельком взглянув на него, собрала с подоконника посуду и свертки, сверху поставила кастрюлю и, поблагодарив, пошла к выходу.

— Послушайте! — крикнул Коля. Он подхватил магнитофон, бросился за девушкой. — Послушайте, вы мне нужны!

Они вышли из клиники вместе.

— Я вам нужна? — улыбнулась девушка.

Коля замаялся, а потом неожиданно для самого себя, глупо подмигнув, сказал:

— Вы мне того, нравитесь...

Девушка повернулась, внимательно посмотрела на Колю. Коля уставился на ее брови: он неожиданно обнаружил, что у черной коровы была белая морда.

— Ах, нравлюсь!... — немного подумав, сказала девушка. — Тогда... несите сумку.

Коля покорно взял сумку, и некоторое время они шли молча.

— У вас кто болен, отец, да?

— Дед, мой любимый старый дед.

— А что с ним?

— Несчастный случай при встрече с одним животным. Так ему и надо!... — добавила девушка, и Коля не понял, что было в ее словах: грусть или злорадство.

— А сейчас как он себя чувствует?

— Тоскует... Вообще хорошо себя чувствует, только скучно ему, поговорить не с кем.

Коля остановился, переложил магнитофон в правую руку, а сумку в левую и вытер пот со лба, наклонив голову к плечу. Девушка насмешливо посмотрела на него, но сумку не взяла.

— Так почему он не разговаривает? — пошел напролом Коля. — Он что, один лежит?

— Нет, там трое... Одного медведь порвал, все лицо забинтовано, а второй вообще...

— Что вообще?

— Дед говорит: «Чудо чудное, по ночам светится, носом свистит, а говорить не говорит».

— Вот бы посмотреть!... — сказал Коля. Все шло как нельзя лучше.

— Там приходят, изучают его. Дед говорит: «Все кривые уже с него сняли». — Девушка неожиданно остановилась, пропустив Колю вперед.

— А что у тебя в ящичке? — вдруг спросила она. — Ты тоже к нему? К «чуду-юду»?

— Да, — сказал Коля. — Я открыл этого Человека.

— И поэтому я тебе понравилась?

— Да, то есть нет!..

— Понимаю... Какая я несчастная, обманутая, осталась у разбитого корыта! — Девушка говорила серьезно, но Коля понял, что она шутит. — Ну что ж, я не стану мстить! Не стану! Иди в палату к моему деду. Скажи, что племянник. А деду зовут Серафим Яковлевич, Несветаев по фамилии.

Коля торопливо поставил свой чемоданчик, на него сумку с посудой и, прижимая ее коленом к стене дома, достал тетрадку. «Несветаев Серафим Яковлевич», — записал он.

— А как вас зовут? — спросил он.

— Меня зовут Лена, но этого записывать нельзя...

— Почему?

— Имена тех, кто нравится, нужно помнить!

Коля проводил Лену до станции метро и решительно остановился.

— До свидания, — сказала Лена, не замечая сумки, которую протягивал ей Коля. — Прощай! Вам, мужчинам, все можно. Это несправедливо! — Лена крепко схватила Колю за плечи, громко чмокнула его в лоб и, отобрав сумку, вошла в станцию метро.

Коля, опешив, смотрел ей вслед.

— Вытрите лоб, вас мама ругать будет, — сказала мороженщица, которая все видела.

Коля вытер лоб платком. Платок покрылся красными пятнами.

«Еще губы покрасила! Вот черт! Придется платок самому стирать!...» — думал он, шагая по улице.

Он долго блуждал по городу, пока неожиданно для самого себя не оказался перед домом, в котором жил Дмитрий Дмитриевич.

Коля постоял в нерешительности перед дверью, потом позвонил и тотчас же пожалел об этом.

Дверь открыл сам Дмитрий Дмитриевич. Он удивленно посмотрел на Колю и пропустил его вперед. В комнате он, сбросив пиджак, лег на диван.

— Вот смотрю журналы, ищу, — сказал Дмитрий Дмитриевич.

— Так вы тоже считаете, что нужно продолжать? Нельзя сдаваться, не нужно! Вот если бы придумать такую штуку, чтобы она ультразвук в обычный звук превратила!

Дмитрий Дмитриевич отбросил журнал в сторону.

— Постой! — сказал он. — Постой... Я с подобным случаем имел дело... Есть нужный способ! Я сам до всего докапывался.

— И докопались?

— Да. Это было в сорок пятом году в Маньчжурии.

— И мы услышим этого человека? И без всяких больших ящиков?

— Ящики не нужны, никакие ящики не нужны...

— Так я вас проведу прямо в палату, и мы все проверим! — восторженно закричал Коля.

— Что ж, попробуем! — сказал Дмитрий Дмитриевич. — Попробуем без черных ящиков.

(Продолжение в следующем номере)

ЗАГОВОР ГЕНЕРАЛА КОРНИЛОВА

Шел сентябрь 1917 года. Буржуазия продолжала свое дело, начатое июльскими расстрелами, она стремилась задушить революцию.

В начале сентября всем в стране было ясно: Россия раскололась на два враждебных лагеря: буржуазию и народ. Они стояли друг против друга, собираясь с силами, готовясь к войне не на жизнь, а на смерть.

Для капиталистов все средства были хороши в этой борьбе.

Миллионер Рябушинский возлагал надежды на «костлявую руку голода».

Правительство и командование открыли фронт, они готовы были пустить немцев в Питер, чтобы задушить революцию.

Готовился военный заговор. Буржуазию не устраивало больше Временное правительство и его глава Керенский, который боялся народа и все еще изоб-

ражал революционера, а потому не решался на крупные меры для подавления революции. Капиталистам хотелось бы власти более прочной и сильной — военной диктатуры, бесконтрольной и ничем не ограниченной. Они хотели нового царя.

И вот решено было сменить существующее правительство, отдать всю власть главнокомандующему генералу Корнилову.

К Петрограду подтягивались полки, на которые Корнилов мог опереться, донские казаки, «Дикая дивизия», сформированная из кавказских горцев. Капиталисты из-за границы — военные союзники царской России — деятельно помогали Корнилову деньгами, вооружением, военными специалистами.

7 сентября корниловские части двинулись на Петроград...

Керенский знал о заговоре Корнилова, но ничего не сделал, чтобы его предотвратить. Только когда



Формируются боевые отряды. Рабочие уходят на борьбу с корниловцами.



Застава революционных войск под Петроградом.

генерал двинул войска на Петроград, Керенский испугался, потребовал от правительства борьбы с ним. Но настоящей власти в руках Керенского уже не было, никто не шел за ним, даже его правительство. И его слова оставались только громкими словами.

Тогда на борьбу с Корниловым выступили те, против кого он направил свой удар, — рабочие.

В это время Ленин был в Финляндии, куда он выехал по решению Центрального Комитета после кровавых июльских событий. В Гельсингфорсе ему нашли убежище у Густава Ровио, назначенного в то время полицмейстером города. Это была надежная квартира. Никто не стал бы подозревать полицмейстера в симпатиях к большевикам.

Ровио и финские коммунисты доставали Ленину необходимую литературу и помогали наладить надежную связь с Петроградом, с Центральным Комитетом партии.

Ленин внимательно следил за всеми событиями в стране.

В самом начале корниловского заговора Ленин послал письмо ЦК о том, что нужно поднять народ на борьбу с Корниловым, а в ходе борьбы разоблачать Керенского, показывать, что он тоже враг революции.

И Петроград поднялся на защиту революции.

Рабочие формировали отряды Красной Гвардии и боевые дружины. Вокруг Петрограда рыли окопы, натягивали проволочные заграждения, разбирали железнодорожные пути, чтобы не могли пройти корниловские эшелоны.

Из Кронштадта и Выборга прибыли на помощь питерцам матросы. В Москве и других городах тоже создавались вооруженные революционные отряды.

Но до вооруженной борьбы на этот раз дело не дошло. Большевикам удалось расколоть контрреволюционные силы. В корниловские части пошли агитаторы, чтобы убедить их перейти на сторону революции. Они добились этого. Казаки и горцы отказались стрелять в рабочих.

Корниловский мятеж был раздавлен в самом зародыше. По требованию народа Корнилов был арестован. Разгромить революцию с помощью военного заговора не удалось. Он только ухудшил положение буржуазии. Большевистская партия, на которую буржуазия клеветала и от которой старалась оттолкнуть народ, выросла в решающую силу революции. Большевики возглавили борьбу с корниловщиной и доказали, что только большевистская партия стоит на страже революции и может ее защитить.

ДОНЕСЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ

Мы узнали о Павлике Андрееве

Мы прочитали воспоминания старого большевика Николая Ильича Подвойского о двух мальчиках — участниках революции 1917 года.

О Паше Андрееве мы уже слышали раньше и хотели разыскать его следы. А теперь решили найти эти следы обязательно.

Мы подумали так: мальчик был москвичом, проверим, не живут ли в Москве какие-нибудь его родственники. Пошли к ближайшему справочному киоску.

— Нам нужно найти Андреева.

Девушка посмотрела на нас удивленно.

— Андреевых в Москве несколько тысяч. Скажите хоть имя и отчество.

— Не знаем. Дайте нам для начала сто адресов. Нас двадцать два человека. Будем обходить всех Андреевых. Если не найдем, кого нам надо, мы к вам еще придем за адресами.

Взяли мы пачку билетиков с адресами Андреевых, разделились по двое — по трое и стали ездить по городу.

Приходим в одну квартиру, открывает дверь пожилая женщина.

— Нам Андреевых.

— Я Андреева.

Начинаем расспрашивать. Выясняется, что многие из этой семьи участвовали в революции. Только не в Москве, а в Петрограде.

— А в Москве — нет. В Москве я первая из всей родни поселилась.

Извинились, ушли.

В другом доме никого не застали, решили вернуться потом. Но возвращаться не пришлось. Когда мы приехали по следующему адресу, дверь нам открыл молодой парень.

— Андреевы наши соседи, их сейчас нет дома. А вообще-то Леонид Дмитриевич Андреев работает мастером на заводе «Красный пролетарий».

Из дальнейшего разговора выяснилось, что у Леонида Дмитриевича в 1917 году погиб на одной из московских баррикад брат Павел.



Павлику было шесть лет, когда его сфотографировали рядом с Джильдой.

Он!

Мы быстро по цепочке созвали всех ребят, помчались на завод, дождались конца смены и прямо у проходной встретили Леонида Дмитриевича.

Невысокий, крепкий человек с суровым лицом провел нас в заводской скверик и рассказал:

— Мне было тогда восемь лет, Паше — пятнадцать. Отец наш работал на заводе Михельсона мастером кузнечного цеха, а Паша там же — подручным. Когда на заводе начали создавать красногвардейский отряд, дома вечером был спор. Отец кричал:

«И думать не смей! Пусть другие воюют, ты мал еще, не доучился, а туда же!»



Это баррикада, на которой погиб Павлик Андреев.

(Это правда, Павел учебы не кончил: на завод ушел.) Паша сидел и говорил упрямо: «Нет, все равно пойду».

И на другой день пришел домой поздно. За плечами винтовка, сбоку шашка, за поясом кинжал.

Отец из комнаты вышел, ничего не сказал. Паша отдал матери кинжал.

«На, — говорит, — мама, пригодится лучше щепать, а мне на баррикаде он ни к чему, у меня вот главное». Снял с плеча винтовку, вышел во двор, прицелился, выстрелил в мишень, точно попал: у кузнецов глазомер хороший.

Старшие братья тоже по разу выстрелили, хоть и чудно им было, что Пашка, обыкновенный пацан, а теперь вон военный.

А он уж давно какой-то другой стал. С революционерами знакомство свел, про Люсю Лисинову рассказывал, как она перевязки раненым делала прямо под огнем.

...А через несколько дней зашел за ним дружок его, Киреев, и они пошли на Пречистенку. Там уже несколько дней были баррикадные бои.

Ушел Павел и не вернулся. День нет, два нет. Несколько дней его не было. Отец объехал все госпитали и больницы. А тогда никто никаких записей не вел, только успевали подбирать раненых.

Наконец нашел. Лежит Паша в палате, глаз один выбит, восемь пальцев оторвано, тело все пулями изрешечено.

Мама к нему приехала, и мы все прощаться ходили. Неделю Паша промучился и умер.

...Мы расстались с Леонидом Андреевичем и поехали на Пречистенку, теперь она называется улицей Кропоткина.

Был солнечный день, в скверике играли ребята, напротив сквера выстроили новый дом, а старые здания были заново чисто и светло покрашены.

Мы шли и думали: может, где-то в глубине кирпичей вот этого старого дома засели пули из винтовки красногвардейца Андреева, где-то под асфальтом скрыта земля, пропитанная его кровью, а там, где катят сейчас красивые, нарядные машины, тянулась через всю улицу баррикада, на которой под красным флагом сражался и погиб наш ровесник Паша, боец Красной Гвардии Павел Андреев, похороненный у Кремлевской стены.

Исторический кружок школы № 7. Москва.

Рассказ старого красногвардейца

Мы пригласили на сбор депутата Верховного Совета Петра Пафнутаевича Ермакова. Во время Октябрьской революции он командовал отрядом красногвардейцев, в котором сражался и Паша Андреев. Мы попросили

Петра Пафнутьевича рассказать о Павлике и записали этот рассказ.

«Павлушу я хорошо знал, так же как и его друга — рабочего Сашу Киреева. Сашу мы сразу записали в отряд, а Павлика, который был лет на шесть моложе, не хотели брать. Мал он был годами, да и ростом не вышел. За малый рост друзья прозвали Пашу «Арбузиком». Паренек он был энергичный, и характер у него был настойчивый. «Арбузик» явился в красногвардейский штаб на Калужской площади. Там собрались вооруженные рабочие. Все построились во дворе. Командир сказал, что борьба предстоит опасная, бой насмерть. Кто не чувствует в себе сил идти на смерть, пусть сразу выйдет из строя. Но Паша никуда не ушел. Он стоял чуть в стороне, и, когда отряд двинулся по московским улицам, Павлик пошел за нами. Он, видно, боялся, что мы его отправим домой, и шел в некотором отдалении, иногда прятался за выступающими домами, потом опять появлялся... Пришлось «признать» его.

Видел я, как вместе с отважной девушкой

Люсей Лисиновой Паша под бешеным огнем юнкеров развозил на автомашине патроны и еду бойцам. Через несколько дней умер на моих глазах Саша Киреев. Его сразила вражеская пуля, когда они с Павликом пробирались к баррикаде на Пречистенке. Павлик дополз до баррикады. Он стрелял метко, много юнкеров полегло от его выстрелов. Наш «Арбузик» сражался мужественно. Он заменял товарищей, которые уходили погреться в чайную. Чтобы враги не заметили, что людей на баррикаде стало меньше, он стрелял сразу из нескольких винтовок. Вдруг его винтовка, которую он с таким трудом выпросил в штабе, упала за баррикаду. Павлик полез за ней, и тут его прошила пулеметная очередь. Он упал. Мы на руках доставили Пашу в госпиталь. Он умер через несколько дней».

Этот рассказ и фотография баррикады, на которой погиб Павлик Андреев, хранятся в нашем школьном музее.

Пионеры городского лагеря школы № 553.
Москва.

Остров-тюрьма



Почти два года — с 1918 по 1920 — на севере нашей страны хозяйничали иностранные интервенты. Они убивали, грабили, мучили советских людей.

За время оккупации интервенты создали десятки концентрационных лагерей и тюрем. Даже русский линкор «Чесма» они приспособили под застенок для политических заключенных.

Но самым страшным застенком была тюрьма на острове Мудьюг, которую называли тюремой смерти. Тысячи людей погибали на Мудьюге. Умиряли от голода, от цинги, были расстреляны.

«Расстрел на Мудьюге» — так назвал свой рисунок Лева Окулов, ученик 8-го класса 20-й школы г. Архангельска.



Изнaннe

Анатолий МОШКОВСКИЙ

Рисунки П. Пинкисевича.

После ужина геологи и рабочие экспедиции разошлись кто куда: одни в палатки спать, другие полюбоваться вечерним Байкалом, а третьи пристроились к огромному костру.

Чем темнее становилось в воздухе, тем ярче и выше взлетало пламя, вырывая из сумрака густые ветви громадных лиственниц, росших неподалеку. Легкие искры, как красные комары, носились у костра и весело жалили собравшихся. Огонь сухо потрескивал, словно щелкал кедровые орешки.

В погожие вечера молодежь экспедиции всегда жгла костер здесь, на краю обширной зеленой террасы между сопками и морем. Тут и таежная мошка не так донимала и почему-то всегда подбивало подурчиться, а временами, глядя на раскаленные угли и поленья, приятно было и просто помолчать, мечтая о чем-то своем.

Это были хорошие минуты. Вот и сегодня у костра раздавались смех и визг. Геолог Сизов, парень лет двадцати семи, в армейской гимнастерке и галфе, одной рукой держал практикантку Нину за локоть, а другой вталкивал ей за воротничок большого кузнечика. Кузнечик работал жесткими задними ногами и приводил девушку в ужас. Нина вырывалась и, зажмурив глаза, то хохотала — ей было щекотно, — то, взывая о помощи, взвизгивала.

Внезапно возня стихла: к костру подошел начальник экспедиции Иван Сергеевич, высокий сутуловатый человек в потертом костюме и кирзовых сапогах (в хорошей одежде в тайгу не ездят). На его худом лице были четко выбиты скулы и резко выделялся крупный нос, под глазами темнели синеватые тени — следы усталости и недосыпания.

Ребята расступились, пропуская его поближе к костру.

Иван Сергеевич присел на корточки и, протянув громадные ладони к огню, стал потирать их, словно мыл в густом струящемся тепле. Отблеск огня лег на его лицо, на гладко зачесанные назад черные волосы, на запавшие, серые от щетины щеки. В костер подбросили хвороста, и большие печальные глаза Ивана Сергеевича вспыхнули. Он, казалось, сразу помолодел лет на десять. Жаркий отблеск стер с его лица постоянное выражение озабоченности и крайней усталости.

— Иван Сергеевич, — спросил Сизов, давно выпустивший Нину, но еще державший в руке дергающегося кузнечика, — скоро мой отряд выбросят в Змеиную падь?

Начальник потирал ладони, смотрел на огонь и улыбался. Вопросы он не расслышал.

Сизов уже открыл было рот, чтобы повторить вопрос, но кто-то — похоже, что Нина — тихонько стукнул его сзади по спине, и он сразу осекся. Иван Сергеевич продолжал смотреть в костер, его брови временами вздрагивали, губы чуть заметно шевелились, словно он разговаривал с кем-то.

— А он сейчас, наверно, медведя во сне видит, — обращаясь к огню, сказал Иван Сергеевич.

— Кто? — в один голос спросили несколько человек.

— Да сорзанец мой, Данька... В шестой уже перешел... Когда я уезжал сюда, как клещ, вцепился: возьми да возьми...

— Наверно, славный мальчишка, — сказала Нина.

Она была круглолицая, смешливая. Крытая сукном стеганка, суженная в талии и с меховой оторочкой по воротнику и рукавам, щегольски сидела на ней. Ее узкие глаза превращались в дзе щелочки, когда она смеялась, а так как смеялась она боль-

шую часть своей жизни, то немногие могли запомнить, какого цвета у нее глаза. Впрочем, геолог Сизов, дипломник того же университета, в котором училась и Нина, все-таки как-то ухитрился это посмотреть, что дорого ему обошлось: он потерял покой, аппетит и даже сон.

— Ничего мальчишка, — после долгой паузы ответил Иван Сергеевич, — только уж больно сорвиголова.

— Это же замечательно! — воскликнула Нина. — Мужчине это очень идет. — Тут она мельком косилась глаза на Сизова. — Я, знаете, терпеть не могу этих скромных и прилежных... В соседней квартире жил мальчик...

И здесь Нина рассказала длинную и довольно обычную историю про тихого и примерного мальчика Борю, у которого в детстве в табеле не было ни одной четверки, в тетрадах — ни одной кляксы, на лице — ни одной царапины, а вот сейчас, через пятнадцать лет, когда он получил степень кандидата исторических наук и читает эрудированные лекции студентам Владивостока, его мать, уже старушка, продает на иркутском рынке старые газеты, чтоб купить картошки и заплатить за квартиру.

У костра затеялся спор о воспитании детей, о сложности их характеров, о том, как вырастают бюрократы, трусы и подхалимы.

К костру подошел низенький, толстый человек — Жук, научный руководитель экспедиции.

— Разрешите начальству потеснить бедных студентов и занять место в партере? — спросил он серьезно.

— Пожалуйста, — ответила Нина и рассмеялась. Жук присел рядом с Иваном Сергеевичем и, бойко заблестев черными глазками, осмотрел всех.

— Итак, дискуссия о методах воспитания грядущего поколения продолжается, — прозвучал его председательский басок. — Какой регламент? Десять минут? Отлично...

А вокруг лежала таежная ночь, глубокая и настороженная, полная неуловимых шорохов, вздохов и шелеста.

Справа, из-за темного обрыва, доносилось слабое дыхание засыпающего Байкала, и, наверное, судам, плывущим по морю, этот большой, яркий костер казался новым маяком...

Разговаривали долго. Когда небо на востоке чуть посерело, Нина вдруг прервала очередного оратора:

— Иван Сергеевич, а вы вызовите Даньку сюда! Это ведь так просто: приедет на шаланде с продуктами...

— Ну что ты, Нина, что ты! — запротестовал было начальник. — Как же это так? Ни с того ни с сего, да...

— А что же в этом плохого? Здесь получше дачи: тайга, сопки, Байкал, ягод полно. Что еще нужно? Да и какой мальчишка не мечтает побывать в экспедиции? Вот обрадуется! Ведь правда, Иннокентий Васильевич?

— Дельно, — ответил Жук, — здесь ему рай будет, тащи его сюда.

— Нет, Кеша, ты это серьезно? — переспросил Иван Сергеевич.

— Завтра же пиши письмо, с первым катером отправим. Он у тебя малец самостоятельный, до Листовничного доберется один, а оттуда моторист доставит его на шаланде к нам... Такой пустяк, а сколько разговоров однако...

Все, буквально все, кто был у костра, принялись уговаривать начальника.

— А ведь и правда, как это я раньше не подумал? — сказал наконец Иван Сергеевич, почесав висок, и вдруг, разойдясь, совсем по-мальчишески хлопнул Жука по спине своей громадной ладонью.

Начальник позабыл, что не все люди такие крупные, как он, и маленький, толстенький Жук от этого удара повалился на бок и придавил Сизова.

— Медведь ты, Иван Сергеевич, — проговорил Жук и сделал сердитые глаза, — обрадовался, поди, за своего медвежонка, и уже силы некуда девать...

Через час все разошлись по палаткам, все, кроме Нины и Сизова, которые остались гасить костер. Ну что ж, дело нужное, от таких костров в тайге, бывают пожары, пусть только получше погасят...

Жук был веселым, неунывающим человеком, и никто в экспедиции и подумать не мог, что когда он улегся, ему стало грустно, что он глубоко завидует Ивану Сергеевичу и неожиданный разговор у костра многое всколыхнул в нем. Перед самой войной Жук окончил университет, потом воевал, затем стал, как он себя называл, профессиональным бродягой и боськом. Жизнь проходила в экспедициях. От первой экспедиции у него осталось одно чувство усталости и неудобства. Во вторую его отправили чуть не под конвоем. Но вот с тех пор прошло десять лет, и теперь он только зимние и весенние месяцы жил в иркутской квартире на улице Красной звезды, а остальные — в экспедициях.

Трудна и опасна жизнь геолога. Однажды Жук с поисковой партией неделю шел по тайге без крошки хлеба, питаясь ягодами и кореньями. В другой раз их нагнал лесной пожар. Они добрались до маленькой речушки, которая их и спасла, — они лежали в воде, высунув наружу рты и носы, а вокруг ревело и сверкало пламя и метался удушливый дым... А горные обвалы и грозы, а шторм на Байкале, перевернувший их лодку, а бегство от разъяренной медведицы, на берлогу которой он нечаянно наткнулся!.. Сколько раз его жизнь висела на волоске, сколько раз сердце, казалось, разорвется от усталости, лишений и страха!.. Но все проходило. Он был отходчив и со смехом вспоминал эти опасные минуты жизни. Он был беспечным и веселым человеком. Ни изнурительные переходы, ни студеные метели, ни осенние дожди не могли погасить блеска его черных глаз, не могли заглушить его смеха и сокрушить полноту. Он с детства презирал толстых и жирных, и, однако, сам решительно не мог похудеть. Низенький, проворный, крепкий, он, как заведенный, сновал по жизни и целиком оправдывал свою фамилию (в школе его звали Жучок). Жук привык общаться с простым народом — ольхонскими бурятами — рыбаками, проводниками и охотниками — людьми, которых он любил больше всех на свете. Но нельзя сказать, чтобы при всей практической ценности своих докладов он производил сильное впечатление на кабинетных мужей науки: его речь была пересыпана бесчисленными сибирскими «однако» и такими простонародными словечками, как «давеча» и «шибко». И его одежда никогда не отличалась элегантностью. Галстук ему мешал дышать, и он стал отлично обходиться без него, хотя кое-кто это считал разгильдяйством; шляпа его конфузила, и он носил простецкую кепчонку, и — а это именно являлось самой прямой причиной его сегодняшней грусти — личная жизнь его была не устроена...

Ему очень нравилась лаборантка кафедры полезных ископаемых Ирина, легкая и тоненькая, в модном зеленом костюме, с открытыми руками. Но у

него были толстые щеки, смешная, суетливая походка — он не шел, а катился, — грубоватый голос, и, глядя в его крошечные медвежьи глазки, глубоко утонувшие в мясистом лице, она, очевидно, и не подозревала, что он думал о ней. А Жук часто и много думал о ней. О ней и больше ни о ком. Скоро к Ивану Сергеевичу приедет этот Данька, сорвиголова, а вот к нему, научному руководителю экспедиции, некому приехать...

Утром, после завтрака — а завтракали прямо перед палатками за грубо сколоченным из досок длинным столом, — Иван Сергеевич выложил из кармана письмо.

— Нацарапал, — сказал он с видом полнейшего равнодушия, но Жук-то хорошо разбирался в людях.

— Эй, Сизов! — крикнул он. — Письмо готово.

— Есть, — ответил Сизов.

Он до университета служил в пограничных частях, донашивал в экспедиции армейскую форму, и в его речи и манерах еще сильно чувствовался военный человек. Сизов с полуслова понял Жука.

Ждать, пока придет с продовольствием моторная шаланда и увезет письмо, долго. Сизов был энергичным парнем и, как все, любил Ивана Сергеевича, и любил не потому, что тот являлся его начальником, а потому, что его было за что любить.

— Сегодня отправлю на катер. — Сизов спрятал письмо в нагрудный карман гимнастерки и вместе с практикантами и рабочими — их звали проходчиками — ушел в сопки, на линии, где рылись глубокие канавы, из которых и брались пробы известняка.

Прошла еще неделя, и вот наступил памятный день. Палаточный городок лениво просыпался, над сопками висели клочья молочного тумана, на траве и мягкой хвое лиственниц блестела роса, и одна только повариха Люся давно уже хлопотала над каменным очагом, на котором стояли закопченные котлы и чайники. И вдруг на весь лагерь раздался ее испуганный голос:

— Шаланда!

С моря донесся едва уловимый стук мотора. В палатках стали распахиваться брезентовые дверцы. Минут через десять почти вся экспедиция, а в том числе и экспедиционная лайка Тарзик, стояла внизу, на гальке, и смотрела, как медленно увеличи-

вается в размерах шаланда — большой крытый баркас, без мачты, с маленькой лодкой на буксире.

Иван Сергеевич, смотревший в бинокль, дрогнувшим голосом сказал:

— Вижу Даньку...

Метрах в ста от берега шаланда встала на якорь, и от нее отвалила лодка. Видя, как оживленно зашевелились люди, как посерьезнело у начальника лицо, Жук незаметно вздохнул.

Когда лодка была метрах в сорока от берега, можно было отчетливо увидеть этого мальчишку, этого легендарного Даньку, который вызвал столько разговоров в экспедиции за последнюю неделю.

А он, кажется, и впрямь был молодцом. Он в полный рост стоял на носу лодки и размахивал обеими руками, и в этой позе чувствовалась уверенность, точно Данька заранее знал, какую царскую встре-



Мальчишка изловчился, прыгнул и попал прямо в объятия отца.

чу устроят ему члены этой байкальской экспедиции. Он прочно стоял на качающейся лодке и не боялся свалиться в воду, хотя моторист Женя, сидевший на веслах, греб изо всех сил и лодка летела стремительно.

На Даньке была ученическая фуражка, синий суконый костюмчик и красная клетчатая ковбойка с выпущенным поверх пиджака воротничком. Его красноречивое лицо улыбалось во весь рот, и он ничуть не смущался, хотя, кроме отца, знакомых на берегу не было. И это очень понравилось Жуку. «Мальчишке не больше тринадцати», — подумал он, — а характер уже виден — независимый, самостоятельный!»

— Ур-р-ра! — закричал Данька, и не успела лодка коснуться носом берега, как мальчишка изловчился, прыгнул и попал прямо в объятия отца.

Никто не обратил внимания на моториста Женю, никто не помог ему вытащить лодку на берег, потому что все сорок человек обступили начальника с сыном. Женя скромно стоял в сторонке с Данькиными вещами в руках — небольшим рюкзаком, чемоданчиком и узлом — и ждал, когда наконец на него обратят внимание. А возня, возгласы вокруг мальчишки не умолкали, и из этой толпы возвышалась голова Ивана Сергеевича.

Только на глухом, безлюдном берегу могут взрослые люди так встречать какого-то там мальчишку, приехавшего из Иркутска...

Наконец там умолк, толпа расступилась, и все могли рассмотреть мальчишку рядом с отцом. И первое, что бросилось в глаза, — он был абсолютно непохож на отца.

Иван Сергеевич огромный, но сутулый, с впавшими щеками. Данька же был здоровяком, каких поискать. Его тугие, гладкие щеки пылали румянцем, белозубый рот задорно приоткрыт, маленький и короткий нос сидел на лице как-то ловко и вызывающе, а глаза смотрели напористо и прямо, и были они жгуче-зеленого цвета. И все лицо улыбалось, и, глядя на Даньку, все улыбались и не могли не улыбаться: столько здоровья, света и веселья излучал этот крепко сбитый мальчишка.

Когда наконец все двинулись к лагерю, моторист, тащивший сзади Данькин груз, передал начальнику запечатанный, но без марки конверт. Иван Сергеевич спрятал его в карман, спохватился и стал разгружать Женю: рюкзак понес Данька, остальное — отец.

Как только мальчишка по тропинке взбежал на широкую террасу, где находились две улицы палаток, очаг, сложенный из камней, стол и несколько одиноких лиственниц, он вдруг опустил на землю свой рюкзак, и, никто не успел и глазом моргнуть, как мальчишка колесом прошелся по траве. Потом перекувырнулся через голову, без помощи рук вскочил на ноги и полез на лиственницу. «Эх, и давно же мальчишка, видно, не был на природе, стескался в городе!» — подумал Жук, глядя на лиственницу. Ствол ее был совершенно голый — ни сучка, ни бугра, — но Данька карабкался легко и ловко, быстро перехватывая руками толстый ствол.

— Циркач, — одобрительно сказал Жук, подымая Данькин рюкзак.

— Не говори, — застенчиво отозвался начальник и, словно в оправдание, добавил: — Просто не по дням, а по часам развивается мальчик. Каждый раз приезжаю из экспедиции и не узнаю... Это, брат Кеша, мы с тобой мало изменяемся и потихоньку тащимся к старости, а он...

Тем временем, чувствуя общее внимание к себе, Данька съехал с лиственницы, перепрыгнул через

обеденный стол, опершись на него руками, промчался вдоль палаток, успевая на мгновение всунуть голову в каждую из них. Потом обежал палатки с другой стороны и ринулся к просторной площадке футбольного поля с врытыми в землю жердями, обозначавшими ворота. Людям хотелось потолковать с Данькой, расспросить об Иркутске, но сейчас было не до беседы: мальчишка, как бес, носился от ворот к воротам, давая себе воображаемым мячом пасовки, беря его головой, колотя по воротам и останапливая игру судейским свистком. Это был удивительный мальчишка: он один заменял две команды, а шума производил не меньше, чем весь иркутский стадион «Авангард» во время встречи сильнейших команд области. Данька был совершенно неустойчивым и, возможно, до вечера носился бы по полю, если б не раздался строгий голос отца:

— Даня, завтракать!

Как мяч, прикатился он с дальнего конца поля, уселся за стол, скромно опустил ресницы, застыл.

— Я вижу, ты любишь футбол, — сказал Сизов (ему было приятно, что в приезде Даньки есть доля и его труда). — Вот я и нашел себе соратника... У меня есть мяч... Постукаем вечером... Ладно?

— Футбольный? — встрепенулся Данька, готовый сейчас же бросить завтрак. — Так пойдемте же!

— Какой ты быстрый! А работать кто будет? Дедушка?

Мальчишка фыркнул, потянувшись через весь стол, схватил кусок хлеба и сунул его в рот.

— Даня, веди себя прилично, — сказал Иван Сергеевич, но чувствовалось, что замечание он сделал не потому, что сын вел себя слишком неприлично и отцу неловко за него, а потому, что Иван Сергеевич хотел казаться строгим, чтобы тем самым скрыть от людей ту огромную радость, которая внезапно свалилась на него. Это хорошо понимал Жук, сидевший против начальника. Ивана Сергеевича просто трудно было узнать. Морщины на его лице остались, но они теперь не столько говорили о приближающейся старости, сколько о суровости пережитого, и очень даже шли к нему, придавая лицу твердость и определенность — то, чего так не хватало мягкому и расплывчатому лицу Жука. И еще на что обратил внимание Жук, — начальник изо всех сил хотел казаться спокойным, безразличным, будничным и меньше всего поглядывать на Даньку. Но это ему плохо удавалось: он помимо своего желания то и дело косился на сына. Если же он смотрел на других, так только для того, чтобы прочитать на их лицах, что они думают о Даньке, и, прочитав их мысли, он оставался вполне доволен Данькой.

«Этот сорвиголова далеко пойдет, — думал Жук. — Права была Нина, когда говорила, что открытые, шумные и задиристые ребята всегда лучше примерных тихонь... А какая у этого сорванца жизненная сила! Это счастье — родиться таким. Другой мальчик живет, как полудремель, смотрит на мир сонно, стесняется всего, конфузится, слово произнести в полный голос боится, и все впечатления в его душу просачиваются тускло, как сквозь кисею. А у этого все получается по-иному: резко, громко. Он, Жук, никогда не был в детстве тихоней и мямлей, но все равно не мог бы идти ни в какое сравнение с Данькой... — Внезапно его мысль дала крутой скачок. — И вообще-то, когда вернусь домой, подойду к Ирине и все скажу ей...»

Жук покраснел, улыбнулся и, вытирая губы, вышел из-за стола.

Разделавшись с овсяной кашей, Данька взял со

стола огромный кухонный нож с деревянной ручкой, соскочил с лавки, подбежал к лиственнице и на расстоянии пяти шагов метнул нож. Острие впилося в кору. Сталь зазвенела, и ручка закачалась. Данька обернулся к столу, словно приглашая всех быть свидетелями его ловкости.

Краснощекое Данькино лицо еще гуще зарделось, а глаза вспыхнули, как два зеленых фонарика.

— Слушай,— сказал Сизов,— пойдешь с нами в сопки или дать тебе мяч?

Данька молчал, пробуя большим пальцем лезвие ножа.

— Ну, ясно, куда торопиться, с нами еще успеешь,— проговорил Сизов,— вылез из-за стола, ногой выкатил из палатки мяч и сильным ударом послал к Даньке. Секунда — и мальчишка лежал на траве, сжимая руками упругий мяч.

— Иван Сергеевич,— крикнул Сизов,— беру вашего Даньку в байкальскую сборную вратарем... Никогда не думал, что он у вас такой молодца.

Проходчики стали расходиться. Те, чьи линии находились за три — четыре километра от стана, брали с собой еду: возвращаться на обед не было смысла. Одни двинулись в Медвежью падь, другие лезли на сопку возле лагеря, третьи неторопливым шагом уходили по тропе вдоль Байкала, к дальним падам — Безымянной и Ушканьей.

Иван Сергеевич сидел в химической лаборатории — просторной прочной палатке, где производились первичные анализы проб известняка из разных линий, и просматривал записи Нины, когда к нему с книгой в руке подошел Жук.

— Сергееч,— сказал он,— боюсь, что твоему Даньке при его темпераменте скучно будет весь день с мячом... Вот пусть почитает... — И Жук протянул синюю книжку «Путешествие на «Кон-Тики». — Я оторваться не мог, всю ночь читал.

Через полчаса Иван Сергеевич уехал на шаланде в Кризую падь, где раскинула лагерь ленинградская экспедиция, а Жук пошел на линии проверять работу проходчиков. На стане остались две девушки — Нина да позариха Люся — и проходчик Васька Елохин, растянувший сухожилие правой ноги. И еще оставался Данька.

Когда Жук вернулся в стан, он застал начальника в палатке за чтением письма. Большая стеариновая свеча, прилепленная к врытому в землю полю, тускло освещала измятый листок, — видно, письмо читалось уже не первый раз. Жук присел рядом на траву и вытянул ноги.

— Что новенького дома?

— А вот почитай. — Начальник протянул листок, и Жук ощутил слабый запах духов.

«Милый Ванюша! — было написано крупным женским почерком на листке. — В понедельник получила твое ужасное послание с просьбой отослать Данечку в экспедицию. Не обижайся, но вначале со мной чуть не сделалось плохо. Послать мальчика в такую даль, где он будет жить в палатке и спать на сырой земле, — нет, это безумие! Но потом вспомнила, что Данечка у нас закаленный мальчик, и решила. Но сердце до сих пор разрывается от страха. Я бегала на кафедру и спрашивала о мошке. Евгения Леопольдовна сказала, что, по словам профессора Каменкова, недавно вернувшегося с Байкала, в этом году мошка не очень кусает. И тогда я совсем успокоилась и перестала волноваться. Посылаю тебе с Данечкой три банки говяжьей тушенки, четыре кило сахара, две банки клубничного варенья, шерстяные носки для мальчика, джемпер... Да, чтобы не забыть: Серафима Алексеевна

гозорит, что серое пальто мне мало идет, и я, надеясь, что ты не будешь против, решила...»

Что-то черное, как бомба, влетело в палатку. Полено со свечой упало, и в потемках раздался крик:

— Папа, хочу спать!

Иван Сергеевич чиркнул спичкой, поднял полено, зажег свечку. Лицо у него было неподвижное и замкнутое, губы сжаты. Свечу он прилаживал в полном молчании, и Жуку показалось, что в глаза его опять начала осторожно входить печаль.

— Даня,— сказал он наконец,— ты не мог войти в палатку, как человек? И чем это ты запустил в нас?

«Ну чего он придирается? — подумал Жук, выкатытая из-под брезентовой полы футбольный мяч. — Как будто что-то случилось!»

— А ты меток, однако,— сказал Жук вслух, улыбаясь.

Данька схватил мяч, заколотил по нему кулаками, как по барабану, и, довольный, что Жук его правильно понял, пояснил:

— Я ударил по дверцам, как по воротам: паду или промажу? И попал!

Отец хотел что-то сказать, но в это время в палатку всунулась голова в армейской фуражке.

— Эй, Данька, ты мяч не потерял? — спросил Сизов.

— Вот он, берите. — Мальчишка катнул мяч в руки геолога и стукнул себя по лбу. — Спать, спать, спать!

Сизов взял мяч и вдруг сказал:

— Иван Сергеевич, а для Дани у вас есть спальный мешок?.. Нет? Ну, так я могу принести свой... У меня синий, он, знаете, толще зеленого, теплей будет...

— А ты как же? — спросил начальник. — Сейчас ночи холодные.

— Вот еще... У ребят телогреек наберу... И знаете, на границе не так приходилось...

— Ну, смотри,— сказал Иван Сергеевич и как-то особенно взглянул на сына.

Через две минуты Сизов принес спальный мешок. Данька разделся, влез в мешок. Потом застегнул на мешке пуговицы-палочки, и теперь одна только круглая голова его торчала наружу. Ему, видно, было очень непривычно и забавно лежать в мешке, и он стал перекатываться с боку на бок и даже попробовал ползти по земле. В мешке Данька был похож на чудовищную синюю гусеницу, которая двигалась, подтягивая и расправляя свое мохнатое гибкое тело.

«До чего же он живой, — подумал Жук с некоторой завистью, — живой и чуточку избалованный».

— Не балуйся,— сказал Иван Сергеевич, — запачкаешь о землю мешок.

Мальчишка продолжал ползти. Когда же Данька утомился, то потребовал:

— Папа, хочу клубнику...

Иван Сергеевич полез в рюкзаки и вынул большую металлическую банку с огромными сочными клубничинами на этикетке.

Уже было поздно, и Жук, пожелав отцу и сыну спокойной ночи, вышел из палатки и пошел к себе.

На краю террасы, как и вчера, могуче пылал костер, подпрыгивая в ночь, и на земле шевелились черные тени. «Подойти, что ли?» — подумал Жук, останавливаясь у своей палатки и ощущая непонятную зависть к этим ребятам, беспечно сидящим у костра. Но потом махнул рукой, откинул дверцу палатки, разделся и влез в спальный мешок. Согретьшись, начал было думать об Иване Сергеевиче и Даньке, но мысли на этот раз были какие-то не-

ясные, вялые, неохотные, а рядом так сладко всхрапывали прораб Семькин и геолог Рябов, что Жук, прислушиваясь к их дыханию и к далекому смеху у костра, сам не заметил, как уснул. И всю ночь с его губ не сходило какое-то горькое выражение, словно его обидели.

Утром, когда Жук с полотенцем на плече и с пластмассовой мыльницей в руке возвращался с Байкала, он услышал, как повариха Люся, размахивая синей книгой, громко спрашивала, кто потерял ее.

— Где нашла? — спросил Жук, забирая книгу.

— На суку висела, вон там. — Люся кивнула на невысокую ольху.

Жук раскрыл книгу. Две страницы были порваны, другие измяты, испачканы зеленью. Ему стало жаль ее. Он купил эту книгу за двадцать пять рублей на рынке, не расставался с ней в поездках, многие страницы помнил наизусть. У всех настоящих путешественников и исследователей есть что-то общее, что-то родственное. Он чувствовал это. Окажись те люди тут, у него было бы о чем с ними поговорить. Прочтешь такую книгу, и жить становится радостнее, и свои не очень большие дела кажутся значительней, а собственная жизнь — ярче.

Таких книг немного, но они есть. Вот одна из них. Но до чего же она испачкана и изорвана, словно на ней, как на салазках, съезжал Данька с крутой сопки!..

Жук еще вчера понял, что Данька — взбалмошный и забалованный мальчишка. К сожалению, это удел многих детей обеспеченных родителей. С этим кое-как можно примириться. Но то, что он сделал с этой книгой о замечательных, храбрых людях, не на шутку обидело Жука. Он рос не так: половину стипендии он тратил на такие книги. Недоедал, ходил в обтрепанном костюмчике, а покупал... Жук понадежнее спрятал книжку в чемодан и пошел завтракать.

— А где Даня, однако? — спросил он у Ивана Сергеевича, садясь за стол.

— Отказался чаевничать, побежал за смородиной.

Сизов работал на линии в километре от стана. Жгло послеобеденное солнце, дремотно пахло смоллой. Высоко над Байкалом пролетел большой серебристый самолет из Китая. Самолет пролетал ежедневно, и все привыкли к нему. Где-то в ельничке свистнул рябчик, из-за кривого известкового останца — выветренной, торчащей в небе скалы — застучал дятел. Эти звуки были хорошо знакомы Сизову и не отвлекали от работы. Но внезапно он вздрогнул: по тайге прокатился выстрел, за ним другой. Он оперся на молоток, и в его душу закрались недобрые подозрения. И снова грянули два выстрела, почти одновременно. И еще раз. Кто-то залпами палил из двустволки, словно отбивался от рассвирепевших медведей. Сизов знал, что крупный зверь в эти места заходит редко, а за мелким зверем и птицей ходить сюда охотникам слишком далеко.

И осталось только одно...

Он больше не мог спокойно работать. Вернувшись на стан, Сизов бросился в свою палатку, сунул руку под телогрейку... Так и есть — пусто! Ружья нет... Не было на месте и патронташа.

Сизов выскочил наружу и, не в силах сдержать себя, заходил взад и вперед возле палатки. Стало так душно, что он снял фуражку и расстегнул на все пуговицы гимнастерку.

Через полчаса на тропинке, ведущей из пади, появился Данька. Он шел раскачивающейся походкой и распевал. В такт шагам он по-солдатски размахивал



На тропинке, ведущей из пади, появился Данька...

вал руками. За плечами виднелось ружье. Из-за ремня головой вниз болталась окровавленная ворона. Чуть выше ремня темнел туго затянутый патронташ. Его круглое лицо светилось румянцем, глаза блестели зеленцой, маленький крепкий нос смотрел еще задорней и самоуверенней, чем вчера. И ни во взгляде, ни в голосе ни тени раскаяния.

— Тебе кто разрешил? — закричал Сизов и так рванул к себе ружье, что Данька едва не упал.

— А что?

— Сам не поймешь? — гневно спросил Сизов, потом схватил патронташ и ружье и зашагал к палатке.

Войдя внутрь, он вытер лоб, сел на землю и с трудом перевел дыхание. Скоро он обнаружил, что в коробке осталось всего несколько патронов. Он живо представил себе, как, пронюхав от кого-то про ружье и воспользовавшись его отсутствием, Данька влез в палатку, перерыл его имущество и без спросу взял все, что ему было нужно. Экспедиция намечалась до середины октября, и Сизов просто не знал, как будет теперь охотиться. А без ружья он не мог жить в тайге. Его бесило, что все

это Данька делал с таким невинным видом и, кажется, не в силах был даже понять, что для него может быть что-то недопустимое... А казался таким славным мальчуганом!.. И кто бы подумать мог?... «Пойду и обо всем расскажу отцу», — твердо решил Сизов.

Он стал ходить по лагерю в поисках начальника, заглянул во все палатки, но Ивана Сергеевича нигде не было. Явился он поздно вечером: уходил с геологом за пять километров в глубину сопки брать пробы. Работал он всегда много. Хотя научным руководителем являлся Жук, а начальник должен был в первую очередь заботиться о своевременной доставке продуктов (завхоз экспедиции достался неважный), инструментов, почты, зарплаты и о многих других хозяйственных и организационных вещах, Иван Сергеевич, кроме общего руководства, в свободное время сам уходил в горы с молотком, лазил по отвесным сопкам. Он был очень утомлен, в его больших серых глазах держалась печаль, как в узких распадах подолгу держится туман.

И когда Сизов подошел к начальнику, он рассказал ему не про случай с ружьем, а про то, что у него, Сизова, уже нет мешочков для проб известняка и их не из чего шить.

За ужином Данька коварно улыбался, словно заранее знал, что Сизов не выдаст его, громко грыз сахар и все время поглядывал на Сизова и, казалось, вот-вот покажет ему язык. Геолог усиленно старался не смотреть на него. Он в полном молчании ел кашу, угрюмо уставившись в стол. Он был зол на себя. «Как же это так, — думал Сизов, — чуть не пожаловался, не наябедничал Ивану Сергеевичу на сына! Сам обещал дружить с Данькой, в «байкальскую сборную» хотел взять — и вдруг на тебе... Неужели я такой беспомощный, что ничего не могу поделать с Данькой? А попади я сам в его положение, сумел бы я удержаться от соблазна пострелять из ружья?

Другой бы, конечно, струсил и самое большое, на что решился бы, — это попросил бы поддержать в руках патрон, но он, Данька, не робкого десятка. Разве это плохо? Патроны, на худой конец, можно привезти из Иркутска, а вот терять контроль над собой и жаловаться на тринадцатилетнего мальчика — это просто не по-мужски. Сил некуда девать Даньке, надо ему какую-нибудь работу подыскать в экспедиции...»

Утром, выйдя из палатки, Сизов заметил над южным берегом Байкала узкую синюю тучу. «Как бы не задождило, — подумал он с тревогой, — как бы не сорвалась работа!» Увидев Нину, которая несла с моря ведро воды, Сизов показал ей на тучу.

— А у меня палатка не окопана, — сказала Нина, ставя ведро на землю. — Как хлынет, только лови реторты и химикаты... Да и вообще все палатки не мешало б окопать...

— Пожалуй, — ответил Сизов, — вот вернемся вечером и обьявим аврал...

— Нет уж, спасибо... А если пойдет днем? Ведь моя палатка, сам знаешь, — химлаборатория.

— Знаю, да не похоже, чтоб днем полило... А впрочем, вот что, — Сизов внезапно улыбнулся, — твою палатку окопаем вне очереди. Идет?

— Идет, — неуверенно сказала Нина, пристально глядя в лицо Сизову: не разыгрывает ли ее?

— Через пять минут пришлю тебе отменного землекопа... Хочешь?

— Хочу, — осторожно ответила Нина.

«Неужели откажется?», — думал Сизов, разыскивая Даньку, и чуть заметно волновался. Увидев

геолога, мальчишка потупился. Сизов поздоровался с ним и, словно вчера ничего и не произошло, протянул ему, как равному, руку.

— Ну и силен же ты, парень! — сказал Сизов в конце разговора и потрогал Данькины мускулы на руках. — Добрый из тебя солдат будет.

Данька внимательно слушал его, зардевшись от удовольствия.

— Другой приходит в армию — дохлак, да и только. Окопчик такому вырыть — пять потов спустить. А вот ты-то, небось...

— Да мне это плюнуть! — крикнул Данька, отскочив в сторону, и стал делать руками такие движения, точно ему уже вручили лопату.

— Я и не сомневался, — сказал Сизов и совсем уже дружеским тоном добавил: — Понимаешь, Даня, со дня на день может быть дождь...

И Сизов все объяснил ему.

— С удовольствием! — воскликнул Данька, вырывая из рук Сизова лопату.

— Вот тебе мои часы, — проговорил Сизов, — проследи, за сколько времени ты окопаешь палатку. А другую вечером окопывать буду я... Кто бы стрее?

— Я, — отрезал Данька, — да я их все окопаю, пока вы вернетесь...

И не успел Сизов сказать ему, какой глубины надо копать ровик, как Данька, прикусив язык, уже вонзил в грунт лопату и отбросил метров за пять большой, связанный корешками трав ком земли. Он работал так старательно и горячо, что Сизову стало совсем совестно за вчерашний день.

— Полегче, Даня, полегче, а то ты сейчас снимешь весь верхний слой, и мы очутимся на скале. Данька хохотнул и еще глубже вонзил лопату. Нина стояла у входа в палатку, улыбалась, и солнце, пробиваясь сквозь ветви лиственницы, пятнами играло на ее лице.

— Видала? — шепнул ей Сизов. — Работага-парень. Его только заинтересует — мир перевернет...

К вечеру, когда Сизов вернулся в стан, палатка была окопана со всех сторон аккуратным ровиком. Теперь никакая бегущая с сопки вода не сможет проникнуть в нее. Сизов вызвал Нину. Лицо у нее было усталое, неприветливое.

— Поздравляю: ровик вырыт по всем правилам.

— Да, — ответила Нина, — по всем, я, слава богу, не первый раз в экспедиции.

— Пойдем, я тебя не понимаю... Но ведь Данька...

— Жди, — грустно протянула Нина, — поковырялся, поторкался, лопату погнул и стал чертыхаться. Уж я ему и сама помогала и рассказывала, из чего делают порох и аммонит и как определяют качество известняка... Вроде слушал. А потом пошла я попить, вернулась, а он исчез... Я уж не вытерпела, Жуку все рассказала...

— Что ты говоришь! — не поверил Сизов, сбрасывая на землю тяжелый от образцов рюкзак; потом почесал ручкой геологического молотка затылок. — Значит, сбежал, вот оно что!..

Ночью Жук мучительно думал о Даньке, ворочался, покашливал и вздыхал, но ничего так и не мог придумать. Решение иногда приходит внезапно. Но эта внезапность не бывает случайной: она незаметно подготавливается долгими раздумьями. Так случилось и на этот раз. Проснувшись, Жук совершенно точно знал, что нужно делать.

После завтрака он подошел к палатке начальника и заглянул в нее. Мальчишка валялся на спальном мешке, смотрел в потолок и делал руками такие движения, словно выжимал тяжеленную штангу.

— Идем со мной, Даня,— сказал Жук.
Мальчишка перестал выжимать незидимую утангу.

— Куда?

— Погуляем вдоль Байкала.

— Ну пойдём,— не очень охотно ответил Данька, встал, потянулся и, зажмурившись от яркого света, вышел из палатки.

Солнце, стоявшее над морем, било прямо в глаза. Оно вспыхивало в каждой росинке, а все вокруг: и трава, и кустарник у обрыва, и лиственницы — было унижено росой. С крутых сопков медленно стекал густой туман, срезая стволы сосенок и елок. Впереди быстро шел Жук, — не шел, а катился — своей торопливой походкой, маленький, неутомимый, с плотным загорелым лицом, в обтрепанной кепчонке с поломанным козырьком. За ним понуроташился Данька, ловкий и крепкий, с недоумевающим лицом. Он был почти одного роста с Жуком.

Когда они проходили через пустынный лагерь — все уже были на работе, — мальчишка вдруг спросил:

— А за кого вы болеете?

— То есть как за кого? — Здесь, на пустынном берегу, этот вопрос показался Жуку нелепым.

И только минутой позже он догадался, что имеет в виду Данька. Жук слабо разбирался в спорте, футбольные страсти мало волновали его. Он не вставал у репродуктора во время матчей на первенство страны, когда радиокомментатор, ведя из Москвы передачу, во всех подробностях рассказывал, кто кому дал пасовку, кто у кого отобрал мяч, кто пустил его в поле без адреса и кто применил недозволенный прием... Жук просто не мог себе представить, как может серьезный человек не спать ночи, переживать и волноваться оттого, что в сетке какой-то команды запутался кожаный мяч. Он относился иронически, с чувством некоторой жалости к приятелям-болельщикам, подтрунивал над ними. Несколько раз его пытались затащить на стадион, но это оказалось невозможным.

— Я стараюсь, Даня, вообще не болеть... В тайге врачей нет, — попытался он пошутить, чувствуя, что шутка до мальчишки не дойдет.

— А я вот за ЦДСА, — бойко сказал мальчишка, и тут уж его нельзя было остановить. Он говорил о каждом игроке с такой осведомленностью, словно знал его лично. Данька оценивал достоинства каждого вратаря трех ведущих команд страны — «Динамо», «Спартак» и ЦДСА, — вспоминал их удачи и поражения за два последних года, он отлично знал, кто из футболистов точно бьет и правой и левой ногой, а кто — только правой, прошелся по капитанам и тренерам, он долго распространялся насчет вредности теории «индивидуального гола» — так некоторые спортивные журналисты формулируют желание многих футболистов во что бы то ни стало лично забить мяч в ворота противника, хотя давно известно, что футбол — игра коллективная. Данька легко и непринужденно сыпал специальными терминами, его суждения о футболе, и не только о русском, были на удивление зрелы. Жука даже ошарашили его познания в этой области, и он впервые подумал, что очень наивно и неверно представлял игру в футбол. Выходило, тут побеждает не только тот, у кого оказываются крепче мускулы ног и кто ловчее подставит голову под мяч, чтобы забить гол...

Но что особенно поразило Жука — это горячность, с какой говорил Данька. Он то прижимал к груди кулаки, то размахивал ими, то бил одной рукой по другой и при этом весь вздрагивал. Его

голос, звучавший в тишине утра, оглушал Жука, и он старался держаться чуть поодаль, но мальчишка, все больше и больше входя в азарт, наступал на него, размахивал руками, и издали, назерное, могло показаться, что они вот-вот подерутся.

Когда они проходили под большой ольхой, Данька вдруг подпрыгнул, ухватился за толстый сук и стал выжиматься. Выжимался он по всем правилам: медленно, спокойно и обязательно подтягивался выше подбородка. Жук еще раз невольно залобовался его крепким, послушным телом — никогда такое не покроется жиром! — и стал подсчитывать количество выжимов. Пятнадцать раз — неплохо!

Когда Данька спрыгнул на землю и с улыбкой посмотрел на него, Жук хотел похвалить мальчишку, но раздумал и только сказал:

— Пошли...

По тропинке они спустились к берегу и двинулись по гальке. Галька сухо хрустела под ногами. Чуть подальше, там, где желтели пятна песка, рос бледно-зеленый хвощ, а у самой воды лежали высохшие на солнце бурые водоросли. У моря было свежо, и зной палил не так сильно. Внезапно Жук увидел выброшенную волной беловато-желтую рыбку. Он подбежал к воде и схватил ее гладкое, без единой чешуйки тело. Оно было такое прозрачное, что явственно просвечивали внутренности. Возле него стоял Данька и возбужденно сверкал зелеными глазами. Жук аккуратно расправил рыбку на своей пухлой ладони и потрогал пальцем ее мягкий живот.

— Знаешь, что это?

Данька отрицательно покачал головой.

— Голомянка... Может, слышал?

Данька пожал плечами.

— Неужели ты и вправду ничего не слышал про эту знаменитую рыбку?

— Знаменитую? — переспросил Данька, и глаза его наполнились весельем. — Вот эта рыбешка знаменитая? Чем, интересно узнать?

И Жук стал объяснять мальчику, что эта рыбка живет только в Байкале и больше нигде в мире, что она живородящая, очень жирная, если ее оставить на солнце, она растает и останется один только позвоночник.

Они минут десять шли по берегу, а он все рассказывал.

Внезапно Жук прервал разговор и поднял с гальки легкую, добела высушенную солнцем и ветром кость, плоскую, с одним крутым изгибом.

— А это что?

— Ясно что... кость, — ответил Данька и стал подкидывать на ладони гладкие плоские камешки.

— А чья кость? — не отставал Жук.

— А черт ее знает! Какого-нибудь зверя. — Данька изловчился, пустил один камешек и «испек» сразу три блина.

— Это ключица нерпы, — сказал Жук.

Но его слова не произвели на мальчишку никакого впечатления. Напрасно Жук старался заинтересовать его рассказом о жизни этих байкальских тюленей, о том, как они — жители Крайнего Севера — очутились здесь, о том, что голомянка служит основной их пищей... Данька упорно думал о чем-то другом. Но стоило Жуку сказать, что зимой нерпы продувают во льду особые отверстия, как Данька сразу оживился. Упоминание о льде всколыхнуло его.

— Эх, когда Байкал замерзает, ну и мировой тут, наверное, каток! Распахнул пасть, ветер, как в парус, и понес тебя на ту сторону.

— Лед здесь не всегда замерзает гладко, —

ответил Жук, чуть сердясь на то, что Данька по-прежнему уводит беседу в другую сторону.— Это когда перед ледоставом не бывает шторма, лед замерзает ровно, а то, знаешь, каких торосов навороочает вкривь и вкось — хоть дизель-электроход «Обь» вызывай из Антарктики лед ломать.

Данька хмыкнул, но, очевидно, только из приличия. Ему было скучно слушать Жука, и он только делал вид, что слушает его. Но зато как оживилось Данькино лицо, когда на пути попался большой валун!

— Бьемся об заклад, что выжму? — вызывающе предложил он и, не дожидаясь ответа, обхватил камень обеими руками, качнул, отрывая от грунта, выжал в обеих руках и толкнул вперед. И Жук опять полюбовался крепостью его мускулов. Но найти с мальчишкой общего языка не мог. Он хотел рассказать ему, какие удивительные цветы растут на сопках и скалах Приморского хребта, на склонах которого расположился лагерь, хотел показать живущих под камнями рачков-бокоплавов — отвалишь валунок, и рачки разбегаются в стороны, — он хотел поговорить с ним о бакланах и чайках, об омуле и хариусе... За годы своих скитаний Жук накопил множество интереснейших наблюдений, а сколько разных историй рассказали ему рыбаки и следопыты! Жук мечтал когда-нибудь под старость, когда будет больше времени, написать об этом книгу. Может, читатели и полюбят эту книгу, но, к сожалению, Данька не выказывал ни малейшего желания слушать его.

«Что за человек, — с грустью думал Жук, — как он мог вырасти в семье геолога-поисковика, человека заслуженного, жадного до знаний?»

Глядя на Даньку, можно подумать, что на свете нет ничего, кроме футбольного поля, турника и мускулистого тела, — ни замечательных книг, ни малиновых закатов, подернутых пепельной дымкой, ни униженных росой саранок и колокольчиков. Кто-то, может быть, и думает, что море только для того и существует, чтоб по нему передвигаться или выполнять план по рыбной ловле, а вот посидеть вечером на обрыве, любуясь игрой белых барашков, переливами всех красок, от черной до фиолетовой, прозрачными, не всегда видными, но всегда таинственными и далекими, как мечта, контурами противоположного берега, — без этого человека может и обойтись...

— Мне нужно пройти на линии... Может, сходим вместе? — спросил Жук.

— Ну, сходим, — ответил Данька.

Они по наклонной тропинке взобрались к кустарнику, прошли с километр вдоль моря и полезли вверх по крутому склону сопки. Под ногами пружинила хвоя, ботинки скользили и, чтоб не поехать вниз, приходилось хвататься за стволы обгоревших сосенок и елочек, за кусты шиповника, за выступы кое-где торчащих из земли кустов известняка. Жук ушащенно дышал, по лбу его несколькими струями тек пот, но он упорно продолжал карабкаться вверх.

Данька, очевидно, никогда не занимался такого рода альпинизмом, но, судя по всему, преуспел бы и в этом виде спорта: он быстро обогнал Жука, и голос его доносился откуда-то сверху. Наконец Жук добрался до канавы. Вначале был виден только отвал — горка известняка по краям, потом стало заметно, как откуда-то изнутри, из-под земли, вылетают белые камни, известковая пыль. И только когда Жук подошел ближе, вся таинственность исчезла: на дне канавы стоял человек в пропотавшей ситцевой рубашке, стоял и острой кайлой дол-

бил твердое дно, или, как говорят геологи, полотно, канавы. Когда под ногами собиралось много крупных кусков известняка и щебня, он подборочной лопатой выбрасывал все это наверх, в отвал.

Они втроем присели на камни, разговорились.

— Долго добирался до коренных пород, — сказал проходчик, скручивая из клочка газеты толстую сигарку, — а сейчас ничего.

Правая рука его выше запястья была перевязана шерстяной веревочкой, чтобы «жилы не растянулись», как объяснил он. Один рукав рубахи был порван, и, когда проходчик, загнув сигарку, согнул в локте руку, стало видно, как могуче заиграла на ней мускулатура. Жук заметил, что и Данька пристально смотрит на проходчика, на его бугристые, жилистые руки и крепкую грудь в распахнутой рубашке, но трудно было понять, что думает сейчас мальчишка.

Когда они через полчаса спускались с сопки вниз, Жук сказал:

— Вот видишь, Даня, не-легко дается рабочему человеку копейка... Он из Листовничного, корову купить решил... Молоко детям...

— Ну и дурак! — отрезал Данька. — Я и за миллион не ковырялся бы в земле...

— Почему «дурак»? — вскинулся было Жук. — Дело не только в деньгах, это ведь и очень нужная работа. Понимаешь, год назад здесь были разведчики-поисковики, а мы производим детальное обследование этого участка. Надо точно знать, каким месторождением мы располагаем, какое качество известняка и стоит ли его...



Данька быстро обогнал Жука...

Данька слушал его и одновременно расшевеливал обеими руками крутобокую глыбу известняка, торчавшую из земли. Жук догадался, в чем дело, только тогда, когда мальчишка вывернул эту глыбу и ногой толкнул вниз. С треском ломая кустарник, подминая дерева, взрывая серую пыль, понеслась глыба к морю. Жук испуганно ударил Даньку по плечу.

— Слушай, а если там люди?

Данька отскочил от него, по лицу скользнула улыбка.

— Удерут, пока докатится.

Грохот замер где-то глубоко внизу.

«Ай да мальчик! — подумал Жук, спускаясь вниз. — Такого ничем не проймешь. Живет в городе, к которому на будущий год, после образования Иркутского моря, подойдет Байкал, а ничего не знает о нем, хотя, наверное, в любое время может прогорланить «Славное море — священный Байкал». Его не приучили читать книги, уважать хороших людей и их труд. Взять хотя бы дробильщиков. В их экспедиции поселковые ребята чуть постарше Даньки по восемь часов в день толкут в специальных ступах куски известняка для химического анализа, чтобы заработать денег на костюм или помочь семье, а этот краснощекий, бодрый лоботряс бегают по лагерю, кидает в ребята шишками, хохочет, дурачится... Да, если б он был вял и робок, за него нечего было бы бояться. Но он напорист, нахален, и если за такого вовремя не взяться, он вырастет, и из него может получиться нехороший человек — жестокий, подлый и бесчестный. Он полнейший неуч, но изворотлив, он бездельник, но вид у него деловой, он, по сути дела, равнодушен ко всему, но очень энергичен и горяч. Много горя причиняли людям вот такие молодчики с розовыми щеками, твердыми мускулами и с полнейшей пустотой в душе... Их можно толкнуть на любое дело: думать они не привыкли...»

Впрочем, Жук тут же спохватился и подосадовал на себя: ведь Данька — еще мальчишка, просто избалованный мальчишка, а он против него такие обвинения выдвигает!

Жук сплюнул, растер плевков сбитой подметкой сапога и натянул на самые глаза кепку: солнце жгло немилосердно.

Они спустились с сопки, вышли на тропинку и зашагали к стану.

— Слушай, Даня, — неожиданно сказал Жук, — ну вот ответь мне: зачем ты взял без спроса ружье Сизова и испортил ему столько патронов? Или ты считаешь, что это хорошо?

И не успел Жук это сказать, как понял, что говорит не то. Не то и не так. Все получается назидательно, скучно и как-то фальшиво. А надо сказать по-другому, просто и ненавязчиво. Но как? И Жук впервые подумал, что если б он пошел по педагогической стезе, он был бы совершенно бездарным учителем. Пожалуй, нет более ответственной и тонкой работы, чем работа учителя, нужно быть большим умницей и просто славным человеком, чтоб ребята полюбили тебя. И Жук думал обо всем этом очень сложно и правильно, но голос его, хрипловатый и уверенный, звучал где-то рядом с грубоватой прямолинейностью и назидательностью.

— Ты считаешь, что это хорошо?

— Я ничего не считаю, — замкнуто ответил Данька.

— Зачем же ты взял ружье?

— А что ему, жалко, что ли? Он даже мяч сам предложил.

— И ты, значит, решил злоупотреблять добротой? Все люди здесь тебя любят, хотят, чтоб тебе было хорошо, а ты им, выходит, пакостишься? А разве трудно было выкопать ровик?

— Отстаньте вы от меня! — вдруг резко сказал Данька, собрал на лбу морщины и замолчал.

Минут через пять, когда из-за лиственниц показались серые палатки, Жук опять не мог удержаться, чтоб не сказать:

— Даня, больше не делай так... Обещаешь?

— Обещаю, — буркнул Данька, вырвался вперед и помчался к отцовской палатке.

В ту ночь Жук опять долго не мог уснуть. В сущности, он никогда серьезно не задумывался о ребятах. Своих он не имел, а думать о других ребятах как-то не приходилось. Слово «мальчишка» связывалось у него с разбитыми стеклами, с драками. Он, конечно, всегда помнил прописную истину, что дети — наше будущее. Но это были для него только громкие, красивые, хотя и правильные слова. И ни разу он не сталкивался с этим будущим вплотную.

И вот к ним в экспедицию приехал мальчишка и стал центром всеобщего внимания. И все свободное время Жук невольно начал думать о нем. И в эту ночь ему снова вспомнились слова Нины, сказанные у костра, когда решено было вызвать Даньку сюда. Девушка говорила, что люди даже в детстве имеют убеждения, и если вовремя не заняться ими, эти убеждения могут остаться на всю жизнь.

Потом его мысли перенеслись на Ивана Сергеевича. Конечно, он хороший, честный человек, но экспедиции и научная работа отнимают все его время, он редко бывает дома, и, в сущности, мальчишка растет без отца. А что касается матери — тут Жук печально улыбнулся в темноту, вспомнив ее письмо мужу, — так она, кажется, и пальцем о палец не ударила, чтоб сделать его человеком. Вот и вырос у них этот дерзкий, проказливый звереныш. Впрочем, он сегодня обещал исправиться...

Жук отстегнул брезентовое оконце. Крупные синие звезды глядели с черного неба. По деревьям прошел порыв ветра, где-то в тайге жалобно прокричала кабарга, и снова стало очень тихо.

И вдруг тишину этой непроницаемой ночи прервал крик. Холодный пот покрыл лоб Жука. Он выполз из мешка, растолкал товарищей, кое-как впопыхах, на ощупь, отыскал брюки, натянул их и босой, в майке, выскочил из палатки. Крик повторился, к нему присоединился другой, более пронзительный. В палатках послышались тревожные голоса. Рядом, в одних трусах, с ручным фонариком-жужжалкой в руке, пробежал Сизов. Кто-то все время жег спички и оторопело спрашивал: «Что случилось? Что случилось?»

Жук не чувствовал, как ледяная роса жжет босые ноги. Он бросился за Сизовым, который бежал к центру лагеря. Когда они остановились, Жук увидел, что одна палатка — она являлась химической лабораторией — лежит на земле, брезент шевелится, вздрагивает, и из-под него доносятся приглушенные крики. Сизов, не выпуская из одной руки фонарик, другой быстро поднял верхний шест обрушенной палатки. Лицо его было напряжено. Неожиданно он спросил тихим, почти шутливым голосом:

— Эй, девчонки, что за шум?

Люди, одетые кое-как, стояли вокруг и пытались помочь девушкам, но так как помочь старались сразу все, ничего не получалось: они толкались и мешали друг другу.



Жук и несколько человек держали палатку...

— Это не змея, это не змея? — машинально спрашивал прораб, изводя вторую коробку спичек.

Один Сизов, кажется, делал, что нужно.

— Иннокентий Васильевич, — негромко попросил он Жука, но в этой просьбе звучал приказ, — подержите-ка за тот конец шеста, пусть девушки оденутся.

Жук и несколько человек держали палатку, когда к ним подошел Иван Сергеевич в пиджаке, накинута прямо на голое тело. Весь лагерь проснулся. Никто не спал. Люди стояли вокруг палатки, взволнованно переговаривались, пока из-под брезента выползли наконец девушки, сонные, перепуганные, непричесанные, с заплаканными лицами. Они сбивчиво объясняли, как проснулись оттого, что на них внезапно что-то обрушилось. Девушки хотели выскочить из палатки, но не смогли: спросонья им показалось, что на них кто-то напал и крепко держал за ноги и руки...

Иван Сергеевич неподвижно слушал их.

Сизов быстро осмотрел два основных шеста — передний и задний, — на которых крепится палатка, и увидел, что оба они внизу надрезаны ножом. Сизов ощупал пальцами их срезы, потом зачем-то вытер руки о трусы и негромко сказал:

— Ясно, чьих рук это дело, — и посмотрел на начальника.

Иван Сергеевич вздрогнул.

— Ты хочешь сказать, что это... Что это сделал...

— Да. Хочу, — непреклонно ответил Сизов.

Больше он не произнес ни слова, а стал в полном молчании вместе с Жуком натягивать палатку на подрезанные шесты.

Иван Сергеевич постоял немного возле Сизова, видно, хотел что-то сказать или дожидаться пояснений.

Но, так и не дождавшись и не сказав ничего, зашагал к своей палатке. Весь лагерь был на ногах, и один только Данька спал. Спал крепко, спал как убитый. А вот Сизов при всех утверждал, что это дело его рук.

Иван Сергеевич присел рядом с сыном; уже начало светать, и брезент тускло просвечивал. И вдруг

начальник все понял. Он пристально посмотрел на сына.

Сын спал в своей обычной позе, чуть поджав ноги. Даже непривычный спальный мешок не мог помешать этому. Лицо его было спокойно, глаза туго сжаты, и слабая тень от густых ресниц темнела на круглой щеке. Он спал так глубоко и безмятежно, что ни один нерв не дрогнул на его лице, не шезельнулись губы. Можно было даже подумать, что он не дышит. Отец сидел и не спускал с него глаз. Он не помнил, сколько прошло времени — полчаса или три часа. Он сидел, как мертвый, не шелохнувшись, сидел и смотрел на совершенно неподвижное лицо сына. То, в чем его только что упрекнули, было тягостно, и Иван Сергеевич не верил этому. Но и Сизов был не таким человеком, чтоб бросать слова на ветер. И вот отец сидел в палатке и смотрел на милое круглое лицо сына с двумя ямочками на щеках.

И вдруг ресницы левого глаза дрогнули, приоткрылись, и на Ивана Сергеевича глянула зеленая щелка. И тотчас закрылась. Данька начал усиленно храпеть. Все стало ясно.

Иван Сергеевич влез в свой спальный мешок, повернул голову к брезентовой стенке и больше ни разу не повернулся. Утром, наворачивая портянку на ногу, он коротко сказал:

— С первым же катером уедешь домой.

И ушел.

В этот день Данька не вышел к столу завтракать. Не пришел он обедать и ужинать. Не было его и в палатке. Он куда-то исчез. Ужинали в полной тишине, и хотя никто и словом не обмолвился про случившееся ночью, было ясно, что виноват в том, что за столом так тихо. Жук заметил, что и геологи и рабочие время от времени кидают на начальника сочувственные взгляды. Иван Сергеевич делал вид, что ничего особенного не произошло. И Жук в душе осуждал его: неужели Даньке опять все сойдет с рук?

Весь день начальник, как и вчера, лазил по сопкам, навестил дальние линии, осматривал колодцы-шурфы и возвратился поздно вечером. На ночь

Данька приходил в палатку ночевать. Он ел всухомятку что попало, однажды уничтожил целую банку болгарского клубничного варенья. С отцом почти не разговаривал, верил: сломит, разжалобит отца, надо только подольше продержаться.

На третий день нагнало туч и заморосил дождик. На море поднялось волнение. Дождь стучал по брезенту, ветер скулил за тонкой стенкой, отделявшей мальчишку от дождя, и ему было очень тоскливо. Дождь лил целый день. Отец уходил куда-то, и Данька оставался в палатке один. Один, один и один. Он заметил, что брезент от дождя не промокает, но стоит в каком-нибудь месте дотронуться до него пальцем, как из того места начинает капать вода. Одна крупная капля упала ему за шиворот, и он долго брезгливо морщился, ощущая всем телом, как капля по спине пробирается к пояснице.

Второй и третий день дождя не было, но все небо темнело от туч, и с моря наплывал клочковатый туман. Он плыл сквозь лиственнички к сопкам и цеплялся за широкие лапы деревьев.

Данька стал выходить к обеденному столу. Он усаживался на самом конце лавки, терпеливо ждал, пока ему подадут. Ел тихо и сосредоточенно, и на него никто не обращал внимания, — и никто больше не палил в тайге из ружья, не подрезал шести палатки, не спускал с сопки глыбы...

Данька как-то весь притих, сжался, и даже щеки его почему-то не казались теперь такими вызывающе румяными. Его ликующие крики не оглашали больше лагерь.

На четвертый день утром Иван Сергеевич вошел в палатку и сказал сухо:

— Собирайся.

Сказал — и снова исчез.

Данька вышел к обрыву и увидел знакомую шаланду, подходившую к берегу. Он смотрел на нее, на эту шаланду, которая должна увезти его отсюда, как на врага. От шаланды отвалила лодка, на берегу ее уже поджидало несколько человек. Пока выгружали мешки с хлебом, мукой, консервами и почтой, отец стоял возле и помогал завхозу принимать по списку груз. Данька ходил вокруг отца, вздыхал, старался попасться на глаза, но отец громко произносил: «Один мешок с печеночным паштетом, вычеркиваю...» — и не замечал мальчишки. Данька все еще не знал, всерьез сказал отец, что собирается его выгнать, или пошутил. Ну что он, такого натворил? Разве кто-нибудь пострадал? Он поозорничал. И только. Ну, немного пересолит, это верно. Но он готов дать слово, дать сто слов, что больше такое не повторится, что он исправится. Почему же все, словно сговорившись, стараются обходить его взглядами, не замечать?

И Данька опять подходил к отцу, но голос его звучал буднично и казенно: «Кукуруза — два мешка, вычеркиваю. Сахар — ящик...» И Данька не решился попросить отца не отправлять его назад, а стал рассеянно смотреть на моториста, который выгружал шаланду. Моторист был не тот, который вез Даньку сюда. Из слов взрослых мальчишка узнал, что старый моторист, Женя, захворал, и вот приехал другой. Потому-то, наверно, отец так тщательно принимает у него груз.

Моторист был рыж, хитроглаз, говорил с картавинкой и почему-то казался Даньке жуликом. И Данька с неприязнью смотрел на него. И какого черта этот моторист так быстро приехал сюда, не мог несколько дней подождать! Ведь отец, проявивший такое неожиданное упорство, наверняка через пару дней отойдет — уж Данька это знает!

Так нет тебе, моторист взял и приехал на этой разнзасчастной шаланде именно сейчас.

Узнав, что в полдень шаланда уходит, люди сели писать письма. Все забыли про завтрак, и лагерь стал похож на отделение связи. Менее запасливые и предусмотрительные бегали по палаткам, просили у других листок бумаги, конверт, карандаш, марку.

Три человека скрипели азбучками на обеденном столе. Один рабочий примостился у очага и строчил на полевой сумке. Писали и в палатках. Иван Сергеевич давал последние наставления мотористу, а Данька сидел на краю обрыва, опустив вниз ноги, и смотрел на эту проклятую черную шаланду, которая покачивалась на небольшой волне. Когда он погружался на нее на пирсе лимнологической станции в поселке Лиственничном, она казалась ему едва ли не океанским судном, но сейчас он был другого мнения о ней. Тоже называется, корабль! Ни мачты, ни надстроек, ни флага, одна только приплюснутая рубка, в которой находится дрянной вонючий моторишко и два длинных рундука... Плавающий курятник, а не судно!

Данька сидел и ждал своей участи. И как всякий, даже приговоренный к расстрелу, все еще надеется на что-то, надеялся и он. Надеялся и ждал.

К мотористу подошел Сизов, размахивая двумя письмами.

— Опусты в Иркутске, — сказал он, — и смотри не потеряться, внутри золотой песок.

Моторист улыбнулся. Но не успел он ответить, как к ним подбежал Данька.

— Давайте я отвезу! Я даже домой отнесу... Все улицы знаю. — Данька думал, что Сизов очень удивится его внезапному отъезду и переговорит с отцом по этому поводу. Но ничего этого не произошло.

— Спасибо, — вежливо сказал геолог и вручил оба письма жуликоватому мотористу, и Даньку что-то обожгло изнутри. Он подбежал к другому мужчине, усатому прорабу: а вдруг он поможет? Ему-то он, кажется, не причинил решительно никакого зла.

— Благодарю тебя, — ласково сказал прораб, — а ты не сделаешь из письма голубя и непустишь в Байкал?

— Не сделаю, — тихо, упавшим и как можно более честным голосом сказал Данька.

— Ой ли? — прищурился прораб и, увидев, что все отдают письма мотористу, тоже отдал ему свое.

Даньке показалось, что ему плюнули в лицо, и он больше ни к кому не обращался с этой просьбой. И тогда он понял: от отца ждать нечего. Его не разжалобишь, к нему не подьедешь ни с какой стороны. Отец... Данька никогда не подозревал, что у него такой отец. Дома он тоже был строгий, задумчивый и нередко покрикивал на Даньку за шалости, но быстро все прощал, приносил дорогие подарки: то пленочный фотоаппарат «Смену», то футбольный мяч, то двухколесный велосипед «Орленок». Не было случая, чтоб он отказывал. Он был послушный, добрый, мягкий, и Данька в душе даже посмеивался над ним: а что, если попросить его купить складную байдарку? Купить? Но оказалось, что отец такой только дома. Здесь же, в экспедиции, он совсем другой. Его слово — закон, его здесь слушаются, уважают, а может быть, и боятся. Сказал: «С первым же катером уедешь домой», — и точка, нет такой силы, чтоб заставила его изменить свое решение.

Данька стоял в сторонке и чувствовал, как сильно бьется его сердце. А оно билось так, что все тело

вздрагивало от толчков. Все, все как один здесь против него. Он был окружен врагами, и если бы он попал в беду, если б он даже погиб, никто из них, наверное, не пожалел бы об этом, а может быть, и облегченно вздохнул. У Даньки пересохло горло, веки дрогнули, и он, чтобы не разреваться при всех, вызывающе засвистал и, сунув руки в карманы, отошел еще подальше от людей.

Скоро он увидел, как отец вынес из палатки рюкзак с его вещами, почти не использованными, — их специально купила мать перед его отъездом. Потом Данька увидел, как путь отцу перерезал Жук, маленький и толстенький, с круглой головой и крошечными медвежьими глазками, Жук, который так все время приставал к нему, надоедал с этой нерпичьей ключицей и, как ее, голомянкой. Ну, наверно, начнет сейчас крыть Даньку и за камень, спущенный с вершины сопки, и за все другое... Ох, вредина!

Данька с ненавистью посмотрел на Жука. Между тем Жук действительно остановил начальника.

— Ты это напрасно, однако, Сергеич, — тихо сказал он.

— Что напрасно?

— Отправляешь его... В изгнание, можно сказать, отправляешь.

— Он заслужил это, — жестко сказал отец и посмотрел мимо Жука.

— Да, но сейчас ты делаешь не то.

— Нет, то, — сказал отец, бледнея, постоял немного и твердыми шагами пошел к берегу, неся Данькины вещи.

Мальчишка находился далеко. Он не понимал, о чем они говорят, и по-прежнему с неприязнью смотрел на Жука, который так и стоял там, где его оставил отец. Но почти все остальные слышали этот разговор и только делали вид, что ничего не слышали. Начальник с мотористом пошли к берегу и спустились по тропе вниз, за ними медленно побрел Данька.

Когда двое мужчин стаскивали в воду лодку, Данька стоял в стороне: он и пальцем не хотел прикоснуться к лодке, которая через несколько минут увезет его в изгнание. Ему вдруг чего-то стало жалко, непоправимо жалко на этом таежном глухом берегу, и Данька отвернулся.

Он на мгновение представил: вот он вернулся в Иркутск, шагает к дому с рюкзаком за плечами. Его окружают мальчишки: «Данька приехал!». «Ребята, бросайте мяч, Данька прикатил!». Как они завидовали ему, когда он собирался в свое первое путешествие, сколько давали советов! Один просил привезти живого бурундучка, второй — сфотогра-

фировать нерпу, греющуюся на прибрежном валуне, третий — обязательно побывать в знаменитых пещерах в Малой Кадильной пади, где когда-то жил древний человек...

А что он скажет им? Нигде он не был, ничего не видал...

И вот он снова очутится в своей квартире, в царстве вышитых подушечек, крошечных слоников, собачек и прочих зверюшек на полках, в царстве зеркального паркета, огромного абажура с хрустальными висялками, уютных ковров, в том царстве, из которого он то и дело старался вырваться на стадион, во двор...

А здесь, у Байкала, здесь все не так. Здесь другие люди, другие законы, и как это случилось, что он, Данька, оказался недостойн жить в этих неуютных брезентовых палатках, есть за грубым дощатым столом под открытым небом, ходить в далекие дикие сопки; и это он недостойн, он, абсолютный чемпион двора по футболу, штанге, по прыжкам и метанию ножа!...

Когда лодка наконец закачалась на воде, отец провел рукой по лбу. Он стоял на гальке, высокий, сутулый, в обтрепанном синем костюме, в грубых, облепленных грязью сапожках. И весь он был какой-то холодный, чужой. Он держал за нос лодку и отчего-то медлил, видно, хотел что-то сказать и проститься с сыном, но сын нарочно стоял подальше от него.

— Полезай, — сказал отец.

Данька быстро вскочил в лодку и, не дожидаясь, что отец скажет дальше, сунул одну ногу в воду, сильным толчком оттолкнул лодку от берега и злобно заорал мотористу:

— Греби!

Потом ненавидящим взглядом посмотрел на отца, словно тот был во всем виноват, повернулся к нему спиной, и лодка понеслась к шаланде. Небольшая волна шла навстречу, шипела и вскидывала нос, ветер швырял в лицо брызги. Вобразившись на борт шаланды, Данька в последний раз мельком окинул взглядом берег. У воды в той же позе неподвижно стоял отец, а сверху, за его спиной, на высоком буром обрыве, стоял Жук и махал ему рукой.

Данька нырнул в рубку. Взревел мотор. И теперь, не боясь, что кто-нибудь может услышать его, Данька прислонился к стенке каюты и в голос заревел. Он весь тряся, он скрежетал зубами и отчаянно бил кулаками в тонкую стенку, точно хотел разломать ее и вырваться.

Шаланда развернулась и быстро растаяла в туманной дали Байкала.





Огонь
пулеметный
площадь остриг.
Набережные —
пусты.
И лишь
хорохорятся
костры
В сумерках
густых.

Ю. Рейнер.

В. МАЯКОВСКИЙ. «Хорошо».



К ЗИМНЕМУ.

Г. Савинов.

ОН ХОТЕЛ ВАС ВИДЕТЬ ТАКИМИ

С. ДЗЕРЖИНСКАЯ

«Я люблю детей так, как никого другого... Я думаю, что собственных детей я не мог бы любить больше, чем несобственных... В особенно тяжкие минуты я мечтаю о том, что я взял какого-либо ребенка, подкидыша, и ношусь с ним, и нам хорошо... Часто, часто мне кажется, что даже мать не любит детей так горячо, как я...»

Эти полные тепла и любви слова писал тот, кого в народе называли «Железным Феликсом».

Несгибаемая воля Феликса Эдмундовича Дзержинского поражала даже его товарищей-большевиков, а они и сами ведь были стальными людьми. Друзья называли его «рыцарем революции», враги трепетали при имени Дзержинского... Но трудно найти человека, который любил бы ребят так горячо и нежно, как «Железный Феликс».

Письмо, строки из которого я только что привела, написано в Швейцарии, в эмиграции, куда Феликс Эдмундович должен был уехать, выйдя из тюрьмы. В тюрьмах Феликс Эдмундович провел почти четверть своей жизни — одиннадцать лет. Конечно, в те годы желание взять подкидыша, о котором говорится в письме, было для Дзержинского несбыточной мечтой. Свое стремление заботиться о бездомных детях Феликс Эдмундович осуществил гораздо позже — после Октябрьской революции, когда он возглавлял комиссию по улучшению быта детей... Как заботился он, чтобы беспризорным детям было хорошо, чтобы они были сыты, одеты, жили в светлых, чистых комнатах!.. Но, повторяю, это случилось много позже, а тогда, в годы подполья, нечего было и думать, чтобы взять на воспитание ребенка... И все же при малейшей возможности Феликс Эдмундович завязывал дружбу с ребятами.

Помню, как он играл с детьми товарищей — с маленькой дочкой Ю. Мархлевского, детьми А. Варского. В Кракове, где он был в эмиграции, он окружил себя детьми. Он жил там в рабочем районе, снимая крошечную проходную комнатушку. Рядом, в большой комнате, хранился партийный архив и ночевали приезжавшие товарищи... Вот здесь-то Феликс Эдмундович и устроил нечто вроде детского сада для ребятшек рабочих. Они играли здесь днем в нехитрые игрушки, которые он сам смастерил для них из папиросных коробок и каштанов...

Раз я застала такую картину: Феликс Эдмундович сидит за столом, на коленях у него малыш, два других примостились за спиной, обвив шею «дяди» руками...

В соседней комнате — детский смех, возня, а Дзержинский, облепленный детьми, пишет, как ни в чем не бывало.

Он даже уверял меня, что так ему лучше работается...

А как он умел играть с детьми! Но, к сожалению, ему не часто удавалось играть даже с собственным сыном... По-настоящему он встретился с ним только в 1918 году, когда Ясю было

уже семь лет. А до этого он видел сына только раз, в Варшавском воспитательном доме, куда пришлось поместить малыша, которому было тогда несколько месяцев. Феликс Эдмундович в то время скрывался от полиции и назвал себя дядей Ясика.

И вот наконец в 1918 году Феликс Эдмундович приехал на несколько дней, повидаться, к нам в Швейцарию, где я работала в советской миссии...

Все время он играл с сыном. Их нельзя было оторвать друг от друга, а я не могла налюбоваться на них. Наконец-то — хоть и ненадолго! — сбылось то, о чем он писал из тюрьмы, обращаясь к малютке-сыну: «...Ясик мой любимый, солнышко, радость моя!.. Когда мы будем вместе, мы будем смеяться и радоваться... Будем гоняться друг за другом и, обнявшись, сидеть и рассказывать друг другу... И это будет наш праздник...»

Но любовь Дзержинского к детям не исчерпывалась нежностью, желанием поиграть с ними, заботой об их здоровье. Это была требовательная, разумная любовь... Он видел в детях строителей светлого, радостного будущего и глубоко задумывался над вопросами воспитания.

Свои взгляды на воспитание он излагает в письмах к сестре и ко мне... Но многие строки обращены также и к вам, ребята. Ведь когда Дзержинский говорил, каким бы он хотел видеть своего сына или племянников, он имел в виду не только их, но всех ребят, всех вас — будущих строителей коммунизма. Выдержки из этих писем вы прочтете здесь, в журнале.

Яростный противник «розги» и чрезмерной строгости, Феликс Эдмундович осуждал слепую родительскую любовь и бессмысленное баловство. «Избалованные и изнеженные дети, любящие прихоти которых удовлетворяются родителями, вырастают выродившимися, слабовольными эгоистами», — писал он родным. Слабоволю и эгоизма Феликс Эдмундович не терпел.

Каким же он хотел видеть своего сына и всех других ребят?

Прежде всего он считал, что люди с юных лет должны воспитывать у себя силу воли. Сам он начал закалять свою волю очень рано. Он рассказывал мне, как, бывало, заставлял себя отложить в сторону увлекательную книгу или прерывал интересную игру до тех пор, пока не сделает уроки или же не выполнит поручение матери. Свою мать он горячо любил и глубоко уважал. Он говорил мне, что это чувство останавливало его в детстве от любого дурного поступка: он не хотел огорчать мать.

Не терпел Дзержинский и барских замашек. С детства он привык обходиться без чужих услуг и до конца остался верен этой привычке. «Не надо. Я сам!» — как часто слышала я от него эти слова!.. Он всегда сам стелил себе постель, сам чистил обувь...

В начале 20-х годов в Кремле, где мы жили, было мало удобств. И, скажем, за кипятком приходилось спускаться со второго этажа да еще

переходить на другую сторону... И Феликс Эдмундович, когда бывал дома, ни за что не позволял ходить за кипятком мне, всегда сам отправлялся в кубовую.

Здесь сказывалась и другая особенность его характера, которую он считал необходимой для каждого человека — большого и маленького, — забота о других. Как я уже говорила, он не терпел черствого эгоизма. Мальчиком он отдавал свои завтраки, а иной раз и обновки нуждающимся товарищам.

Чувство товарищества, забота о людях, иногда даже и незнакомых, особенно укрепились у него в тюрьме. Товарищи по заключению с глубокой благодарностью вспоминали, как поддерживал он ослабевших, делясь с ними чем мог.

М. Троценко, шедший на вечное поселение в одной колонне с Дзержинским, вспоминает, как Феликс Эдмундович заботился о нем. Осужденные на вечное поселение обычно не заковывались в ножные кандалы, но Троценко заковали, и Дзержинский добивался того, чтобы их сняли. Он кричал на начальников пересыльных тюрем, он пытался сам разбить кандалы колуном, который он сумел унести из тюремной кухни. И он не успокоился до тех пор, пока кандалы не были сняты.

Покидая ненавистную тюрьму, он искренне и глубоко тревожился о тех, кто остается в ней. «Я уйду, а эта ужасная жизнь здесь будет продолжаться по-прежнему, — записывает он в своем тюремном дневнике. — Не ужасы этого мрачного дома приковывают к нему, а чувство по отношению к товарищам, друзьям, незнакомым соседям — чужим и все же близким. Здесь мы почувствовали и осознали, как необходим человек человеку, чем является человек для человека. И если мы здесь тоскуем по цветам, то здесь мы научились любить людей, как любим цветы...»

Это бережное отношение к друзьям сохранилось у него навсегда. Я помню, как тревожился он о здоровье В. Р. Менжинского. Когда же одному из его помощников врачи по состоянию здоровья запретили работать больше четырех часов в сутки, Феликс Эдмундович ежедневно звонил, проверял, выполняет ли он предписание врачей. А ведь Феликс Эдмундович сам был болен и бесконечно занят, он работал чрезмерно на своем ответственном посту, труднейшем посту председателя ВЧК — Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией.

Его чувства к друзьям были всегда правдивыми, искренними, честными. Ложь и притворство он ненавидел с детства. «Ненавижу всякую фальшь и лицемерие!» — пишет он сестре и тут же говорит, советуя ей, как можно лучше воспитывать ее сына: «Смотри, воспитывай так, чтобы он ставил выше всего честность; такой человек во всех жизненных обстоятельствах чувствует себя счастливым!...»

Честность для Дзержинского означала честное выполнение долга. Слово у человека — большого ли, маленького ли — не должно расходиться с делом, «за верой должны следовать дела». По этому закону жил сам Феликс Эдмундович. Совсем еще юным осознал он необходимость бороться с царем, с угнетателями и дал клятву посвятить себя этой борьбе. Вся его жизнь была выполнением этой клятвы, он не отступал от нее ни на шаг и всегда брал на себя самое трудное.

И в подполье он стремился заслонить друзей от опасности.



Феликс Эдмундович Дзержинский.

Когда летом 1905 года полиция окружила партийное собрание в лесу под Варшавой, Феликс Эдмундович отнял у товарищей все «нелегальные» вещи: листовки, оружие. Этим он спас от каторги других. Арестовали все собрание, но «доказательства» революционной работы были только у Дзержинского, и ему угрожало самое тяжелое наказание.

Вспоминается и другой случай, о котором рассказывал большевик-подпольщик Эдвард Прухняк. В том же 1905 году в Пулавах готовилось восстание русского гарнизона. Феликс Эдмундович, Прухняк и Варский стояли на окраине города, ожидая сигнала о начале восстания, чтобы повести революционных крестьян на помощь восставшим. Вдруг они услышали гиканье и цокот копыт: к ним галопом приближался казачий взвод... Встреча с казаками грозила не только арестом, но расстрелом: при революционерах было оружие. Пускать же его в ход было бессмысленно: силы слишком неравные. Дзержинский огляделся — место было открытое, позади — забор, такой высокий, что ни пожилому Варскому, ни невысокому Прухняку не удалось бы через него перелезть. Казаки приближались... Тогда Феликс Эдмундович помог взобраться на забор обоим товарищам по очереди, и лишь когда убедился, что они в безопасности, стал карабкаться сам. Надо, впрочем, сказать, что он умел лазить по заборам и деревьям, как кошка.

Быть «смелым и сильным духом и телом» желал Феликс Эдмундович детям своей страны. Сам

он был необычайно ловок и вынослив, и это немало помогло ему в тюрьме, на каторге и в особенности в его дерзких побегах. Но еще более, чем физическая закалка, помогали ему нравственная сила, смелость, находчивость. Один из товарищей Феликса Эдмундовича по подпольной работе, Ганецкий, вспоминает, как они перевозили в чемоданах листовки и нелегальные книги. На вокзале они столкнулись с жандармом.

— Чемоданы в вагон! — прямо глядя в глаза жандарму, приказал Дзержинский.

Голос его звучал так повелительно, что жандарм не посмел ослушаться господина, видимо, богатого и влиятельного, он своими руками внес в вагон чемоданы с подпольной литературой...

Сила души Дзержинского выражалась в глазах, взгляд которых был то добрым и мечтательным, то таким пронзительным, что его трудно было вынести подлому и слабому человеку. В 1914 году, когда началась империалистическая война, всех политических заключенных, в том числе и Дзержинского, отправили подальше от фронта. Настроение у арестантов было приподнятое: все верили, что война нанесет решительный удар ненавистному царизму. Бряцая кандалами, люди в тюремных вагонах пели революционные песни.

— Прекратить пение! — крикнул конвойный начальник.

Его никто не послушался. В наказание начальник перестал выдавать заключенным те десять копеек, которые полагались каждому на питание.

Люди, и без того истощенные, падали в обморок от голода. Особенно тяжело было без табака.

Тогда, как вспоминает один из заключенных, Дзержинский вызвал начальника и потребовал выдачи денег.

— Стрелять буду! — пригрозил начальник.

— Стреляйте, — ответил Феликс Эдмундович, разорвав рубашку и обнажая грудь, — но от своих требований мы не отступим!

Некоторое время они смотрели друг другу в глаза. Поединок был неравный. С одной сторо-

ны, человек в кандалах, с другой — военный, за которым стояла вооруженная охрана. Но вооруженный не вынес острого взгляда безоружного арестанта. Он ушел и вскоре приказал выдать арестованному деньги.

Что же давало Дзержинскому эту нечеловеческую силу, поддерживало его на каторге и в мертвом молчании «одиночки»? В самые трудные минуты в нем жила высокая идея освобождения человечества, идея коммунизма. Об этом он писал мне из тюрьмы, говоря о том, каким должен быть наш сын:

«...Не тепличным цветком должен быть Ясь... Он должен в душе обладать святыней, более широкой и более сильной, чем святое чувство к матери или к любимым, близким, дорогим людям. Он должен суметь полюбить идею — то, что объединит его с массами, то, что будет озаряющим светом в его жизни... Это святое чувство сильнее всех других чувств, сильнее своим моральным наказом: «Так тебе следует жить, и таким ты должен быть».

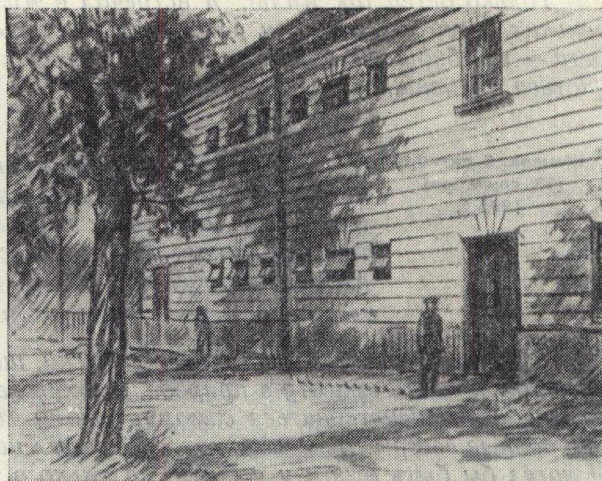
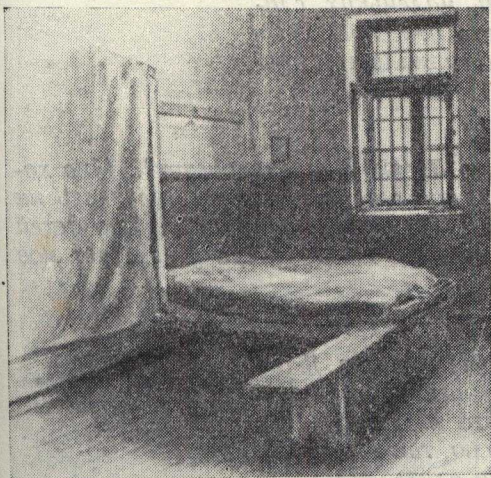
Он хотел, чтобы его сын стал настоящим коммунистом. А для этого нужно было сначала настоящим пионером. Мне вспоминается такой случай. У Ясика были сильные головные боли, и врачи посоветовали давать ему в этом случае ложечку коньяку в чай.

— Но ведь в пионерском уставе сказано, что пионер не пьет! Как же быть?.. — спросил Ясь.

Я попыталась убедить его, что это не питье, а лекарство. Но Феликс Эдмундович отнесся к делу иначе.

— Пусть он честно выполняет пионерский устав, — сказал он. — А болезнь его и так пройдет. Нельзя приучать мальчика к сделкам со своей совестью.

Вот таким и мечтал видеть своего сына и всех вас Феликс Эдмундович: честными, прямыми, никогда не вступающими в сделку со своей совестью, хорошими товарищами, настоящими пионерами. И хотелось бы, чтобы вы помнили об этом не только сейчас, в дни восьмидесятилетия Дзержинского, но и всегда, всегда.



Тюрьмы, где сидел Дзержинский. Слева — камера в Седлецкой тюрьме. Справа — Варшавская цитадель. Посмотрите на окна. Кроме решеток, обычных для каждой тюрьмы, на них еще металлические козырьки. В камере, где сидел Дзержинский, было совсем мало света: крошечные окна из матового фигурного стекла подняты под самый потолок, а на форточках проволочная сетка, такая густая, что не просунешь и спички.

Из писем Ф. Э. Дзержинского

К сестре

Дорогая Альдона!

Спасибо, что написала мне... Ты называешь меня «беднягой», — крепко ошибаешься. Правда, я не могу сказать про себя, что я доволен и счастлив, но это ничуть не потому, что я сижу в тюрьме. Я уверенно могу сказать, что я гораздо счастливее тех, кто на «воле» ведет бессмысленную жизнь. И если бы мне пришлось выбирать: тюрьма или жизнь на свободе без смысла, я избрал бы первое, иначе и существовать не стоило бы...

Ковенская тюрьма.

25 (13) января
1898 г.

Село Кайгородское.

13 (1) марта
1899 г.

Два твоих письма я получил... Как здоровье твоих мальчиков? Поцелуй их от меня и скажи Рудольфику, что благодаря нам его ждет лучшая судьба, что он сможет свободнее дышать, если захочет приложить силы к тому, чтоб одни не угнетали других и не жили за их счет, чтобы свергнуть золотого тельца, чтобы уничтожить продажность совести и ту темноту, в которую погружено человечество... Если все это не найдет отклика в его душе, если он будет жить исключительно для себя и заботиться только о своем собственном благополучии, то горе ему... Не сердись, что я желаю ему того, что считаю высшим счастьем и что для меня свято...

...Я намного моложе тебя, но думаю, что за свою короткую жизнь я впитал столько различных впечатлений, что любой старик мог бы этим похвастаться. И действительно, кто так живет, как я, тот долго жить не может. Я не умею наполовину ненавидеть или наполовину любить. Я не умею отдать лишь половину души. Я могу отдать всю душу или не дам ничего.

Седлецкая тюрьма.

21 (8) октября
1901 г.

...Помни, что в душе таких людей, как я, есть святая искра... которая дает счастье даже на костре.

Только детей так жаль!.. Я встречал в жизни детей, маленьких, слабеньких детей с глазами и речью людей старых, — о, это ужасно!.. Ведь дети — это будущее! Они должны быть сильны духом и сизмальства приучаться к жизни...

Женева. 6 октября
(23 сентября)
1902 г.

...Ты страшно мало пишешь мне о детях. Как они растут?.. Мне хочется увидеть их, обнять, посмотреть, как они развиваются, слышать их плач, смех, видеть их игры и шалости. Не знаю, почему я люблю детей так, как никого другого. Когда встречаюсь с ними, то сразу исчезает мое плохое настроение.

...Я... так хотел бы жить по-человечески, широко и всесторонне. Я так хотел бы познать красоту в природе, в людях, в их творениях, восхищаться ими, совершенствоваться самому, потому что красота и добро — это две родные сестры. Аскетизм, который выпал на мою долю, так мне чужд. Я хотел бы быть отцом и в душу маленького существа влить все хорошее, что есть на свете, видеть, как под лучами моей любви к нему развился бы пышный цветок человеческой души... Но, о чудо! Пути души человеческой толкнули меня на другую дорогу, по которой я и иду. Кто любит жизнь так сильно, как я, тот отдает для нее свою жизнь...

Х павильон
Варшавской цитадели
22 (9) октября
1905 г.



Это фотография 1911 года. Дзержинский снялся, чтобы послать портрет жене в тюрьму. Софья Сигизмундовна Дзержинская, арестованная на подпольном партийном собрании, была осуждена на пожизненную каторгу, потому что в ее квартире нашли рукопись Дзержинского.

Х павильон
Варшавской крепости
16 (3) июня 1913 г.

...Быть светлым лучом для других, самому излучать свет — вот высшее счастье для человека, какого он только может достигнуть. Тогда человек не боится ни страданий, ни боли, ни горя, ни нужды.

К ж е н е

Х павильон
Варшавской цитадели
28 (15) июля 1913 г.

Дорогая моя Зося!

Я так тебе благодарен за каждое письмо, за каждую весточку о Ясике... Я так рад, что он уже с тобою. Его последняя карточка, его улыбка — счастье для меня, она озаряет мне всю камеру, и я улыбаюсь ему, и ласкаю его, и обнимаю дорогое дитя, и радуюсь, что все его улыбки и ласки — твои, что он дает тебе силу перенести все...

Х павильон
Варшавской цитадели
15 (2) декабря 1913 г.

Дорогая Зося моя! Чрезвычайно обрадовало меня твое последнее открытое письмо... Я думаю о Ясике и воображаю, что держу его на коленях, чувствую его и вижу его смех...

...Пусть видит только, — и не закрывай ему глаз, когда он сможет уже понять, — и радость нашу, и надежду в страдании, и красоту жизни. Надо, чтобы ласка дала ему силы и умение страдать и чтобы в будущем ничто не сломило его. Он должен видеть, чтобы понять и вместе с тобой по-своему пережить твои страдания, чтобы, таким образом, научиться самому любить и понимать, а не только быть любимым и понимаемым...

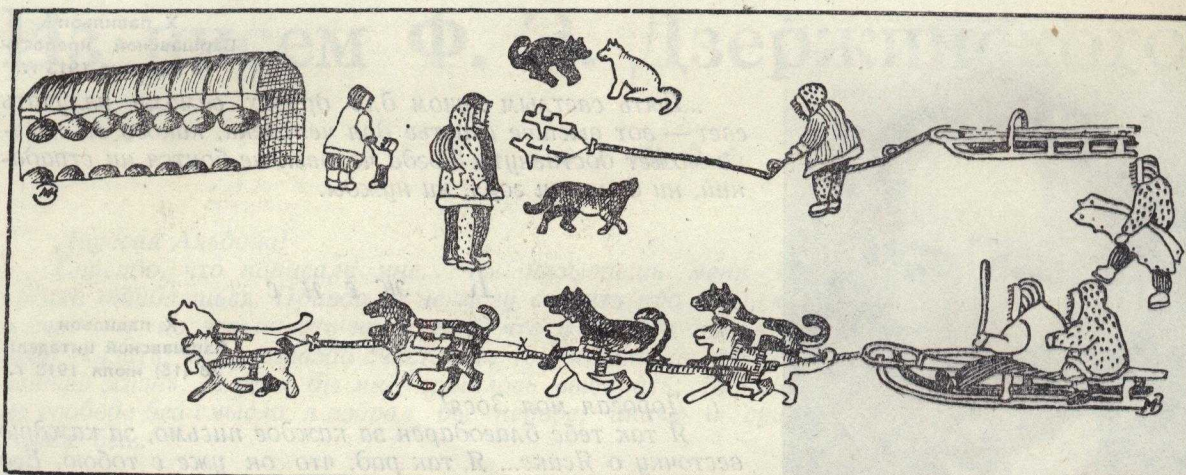
К с ы н у

Милый мой Ясик! Я получил твое письмо (от 11/IV), которое ты мне послал с высокой горы Губель. Оно, как маленькая птичка, летело ко мне и долетело. Оно теперь со мной в камере моей, и мне весело, что мой Ясик помнит меня и что он здоров. Да, мой милый, когда я вернусь, мы пойдем и на еще более высокую гору, высоко-высоко, туда, где тучи ходят, где белая шапка снега покрывает верхушку горы, где орлы вьют свои гнезда. И оттуда будем смотреть вниз на озера и луга, деревни и города, зеленые роции и бурые голые скалы, и вся жизнь будет перед нашими глазами. Я буду рассказывать тебе о своей жизни, где я был и что видел, как радовался и горевал и как люблю тебя, сынок мой, и мы будем говорить о тебе, — что ты любишь и кого ты любишь, кем ты будешь, каким сильным и хорошим, какой радостью для мамуси, для меня, для людей; что ты будешь делать, когда вырастешь...

...А теперь до свидания, мой добрый. Целую и обнимаю тебя крепко-крепко.

Москва.
Губернская тюрьма.
6 июня (24 мая).
1916 г.

Твой папа Фелек.



Вы видите здесь сборы в дальнюю дорогу. Одна упряжка ездовых лаек уже трогается в путь. На нарте сидит наюр с остолом — короткой палкой, служащей для торможения и прикола нарты. Другой наюр подзывает к себе пса. Но тому, видно, неохота идти в упряжку. Каюра вышла проводить жена с ребенком. Вдали слева виден склад продовольствия. Чтобы крышу не сорвали свирепые чукотские ветры, через нее переброшены ремни с привязанными к ним тяжелыми камнями.

РИСУНКИ НА КОСТИ

Картинки, которые вы видите здесь, вырезаны чукотскими косторезами. Я перерисовал их с моржовых клыков и костяных изделий.

Приморский чукча учится с малолетства владеть оружием и охотиться на зверя. Спрятавшись за торосами и подолгу наблюдая за животным миром, чукча познает повадки зверей, их характер и своей искусной резьбой передает все то, что ему так хорошо знакомо с детства.

Чукотские рисунки по кости полны движения.

Вот мчится во весь опор собачья упряжка.

Вот байдарка с охотниками подходит к плавучим льдам, на которых отдыхают моржи. Сейчас откроется стрельба...

Охотники залегли среди торосов. На чукчах белые маскировочные камлейки (куртки, надеваемые сверху, через голову). Один зверь убит, остальные встревоженно подняли головы, прислушиваются, и некоторые предусмотрительно спешат к воде...

Природу и быт своего родного края чукча-косторез передает с острой наблюдательностью северного следопыта, с ювелирной тонкостью искусного умельца. Всего лишь с помощью иглы наносит он свой смелый, стремительный рисунок на гладкую поверхность моржового клыка.

Макс Зингер



Охота на белого медведя среди торосов. Чукча справа вытаскивает из ледяной лунки нерпу.

Стихи Виктора КЕУЛЬКУТА

Нерпа и медведь

В море серые торосы.

Нерпа вылезла на лед.

По ветру поводит носом,
зорко смотрит: кто идет!

К ней медведь крадется белый,
против ветра держит путь,—
шага лишнего не сделай,
чтобы нерпу не спугнуть.

Только нерпа чутко дремлет
и врага спокойно ждет —
просыпается все время,
зорко смотрит: кто идет!

Вот она раздула ноздри,
а потом — глубокий вдох.
Вот еще втянула воздух...
Не застать ее врасплох!

И медведь надолго замер
за огромной глыбой льда.
Смотрит жадными глазами...
Чует нерпа: тут беда!

Вот медведь рванулся к цели.
Но за нерпой не успеть.
Только брызги полетели.
«До свидания, медведь!..»

Охота на моржей

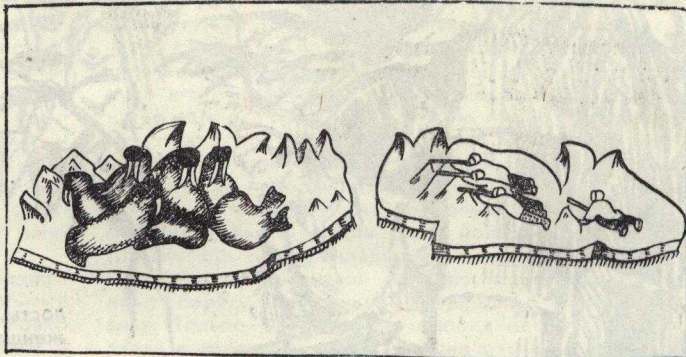
Вдалеке, взгромоздясь на льдины,
неподвижно моржи лежат.
На снегу выступают спины,
багровеющие, как закат.

К ним вельбот быстроходный послан,
он бесшумно плывет вперед.
Небольшие ручные весла
зверобой пускают в ход.

А моржей-то, наверно, тыщи;
до чего ж они велики.
Вот лежат, распустив усищи
и на лед положив клыки.

Смотрят поверху так беспечно,
словно нет никакой беды.
Вероятно, привыкли вечно
в небеса глядеть из воды.

Распластались, как неживые,
на больших ледяных буграх.
Повстречаешь таких впервые,
и тобой овладеет страх.



Охотники подбираются к моржам.

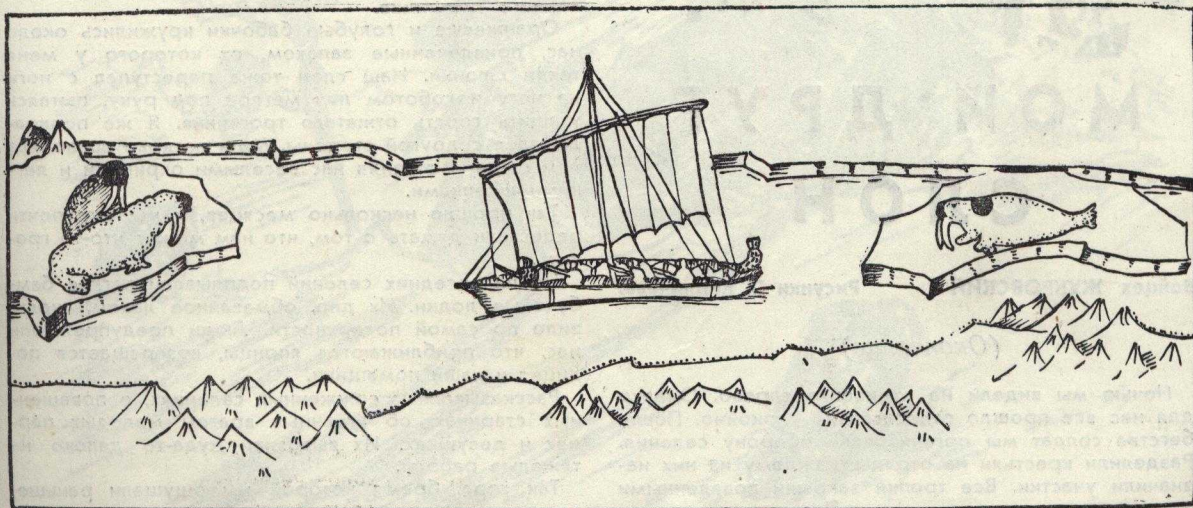
Хлещут выстрелы. Пули свищут.
Расплывается дым густой.
Убегают по льду моржищи
с неожиданной быстротой.

Друг за другом ныряют в воду,
гневно фыркают и пыхтят.
И дробят голубую воду
так, что брызги в вельбот летят.

Исчезают, в пучину канув,
словно не было...

А взгляни
на застреленных великанов —
стали больше живых они.

Перевел с чукотского
Николай Старшинов.



Охота на моржей в разводье среди льдов с парусной байдары.



МОЙ ДРУГ СЛОН

Войцех ЖУКРОВСКИЙ

Рисунки П. Кирпичева.

(Окончание)

Ночью мы видели на горизонте зарево. Однако для нас все прошло относительно спокойно. После бегства солдат мы организовали оборону селения. Разделили крестьян на отряды, каждому из них назначили участки. Все тропки закрыли поваленными деревьями, устроили засеки. Повсюду выставили

посты. В случае если гонг забьет тревогу, наши женщины должны были уходить в джунгли вместе с детьми. Там в скрытом гроте хранилась корзина с остатками риса. Лучшие охотники, заняв позиции на вершинах деревьев, должны были встретить врага пулями.

Оставалась еще одна дорога — наша река. Французы всегда приходили оттуда.

— Закрывать реку мы тоже должны, — говорил людям неведомый мне вьетнамец в очках, который пришел к нам из города. — Это потребует больших усилий и тяжелого труда, но враг тогда не сможет пройти!

Слоны приволокли бревна.

Заточив концы бревен и установив каждое между двумя лодками, крестьяне забивали их в дно большим камнем, который подтягивали на блоке. Посередине реки был оставлен небольшой проход. Вода слегка закрыла вбитые сваи.

Теперь мы почувствовали себя в большей безопасности. Рис заколосился обильно, предвещая отличный урожай. И весь этот урожай должен был достаться нам, тем, кто работал ради него. Ведь господин Бао удрал...

Крестьяне неуверенно поглядывали друг на друга, не зная, что будет с ними дальше, но все чаще и чаще раздавалось слово «свобода», значения которого я тогда еще не понимал...

Мы были хозяевами на своей земле. Спины людей распрямились.

— Мне кажется, что гора, которая давила нас раньше, свалилась с наших плеч и рассыпалась в прах: мы теперь свободны! — сказала мать и начала напевать веселую песенку, выжимая сок из сахарного тростника.

Оранжевые и голубые бабочки кружились около нас, привлеченные запахом, от которого у меня текли слюнки. Наш слон тоже переступал с ноги на ногу и хоботом лез матери под руку, пытаясь утащить горсть отжатого тростника. Я же подкрадывался с другой стороны. Мать ласково позволяла нам шалить, отгоняя нас веселыми окриками и легкими шлепками.

Так прошло несколько месяцев, и мы уже почти перестали думать о том, что нам может что-то грозить.

Но из соседних селений подплывали легкие бамбуковые лодки. Их дно, обмазанное лаком, скользило по самой поверхности. Люди предупреждали нас, что приближаются японцы, возвращается полиция и наши помещики.

Рассказывали о сожженных селениях, о повешенных стариках, об угнанных врагом молодых парнях и девушках. Их вывозили куда-то далеко на тяжелые работы.

Так гора, бремя которой мы ощущали раньше, вновь возвращалась, удвоив свою тяжесть.

Наши решили защищаться. Было у нас несколько ружей и два карабина. Этого, конечно, было явно недостаточно.

Несколько раз над нами вдоль реки пролетали самолеты с нарисованным на крыльях белым солнцем. Наш слон очень не любил рокота моторов. Кончики его широко расставленных ушей нервно подергивались. Несмотря на призывы и просьбы, он бросал работу и прятался в джунгли. Самолеты снижались и проносились над самыми верхушками деревьев. Мы задирали головы и смотрели на них; мы еще не знали, что следует ожидать от такого визита.

...Ранним солнечным утром я купал в реке нашего слона. Он хорошо знал, где находятся забытые свай: вода над ними слегка рябила, и слон ловко обходил их. Неожиданно он рванулся к берегу и поспешил в тень деревьев.

— Внимание! — крикнул я женщинам, работавшим на берегу. — Опять самолеты...

Действительно, через минуту мы услышали приближающийся рокот.

— Ну что, разве не говорил я вам?! — торжествуя кричал я.

Однако это оказался не самолет, а моторный катер. Он быстро шел посреди реки. Женщины бросились бежать. С катера застучал пулемет. Сначала появились всплески на воде, потом что-то засвистело в воздухе. Я увидел, как одна из женщин упала назад. Из ее корзинки, которую она несла на голове, высыпалось белье. Перепуганный, смотрел я, как она недвижимо лежит на земле, не поднимая выстиранного белья, хотя оно вывалилось на песок. Потом я понял, что она убита. Тут только я прижался к камням, стараясь не шевелиться.

Неожиданно из леса прогремело два выстрела. Японец, который стоял у руля, упал на палубу. Катер резко вильнул. Теперь он шел прямо на меня. Воздух, прошиваемый пулями, жалобно стонал.

Японцы стреляли по роще, где укрылись наши охотники. Я понял, что пропал. Сейчас катер пристанет к берегу, японцы поймут меня и убьют...

Но тут катер пошел боком, качнулся. Раздался сильный треск, течение подхватило судно, перевернуло его вверх дном и стало сносить вниз. Потом катер еще раз грохнуло о вторую линию свай, скрытых под водой, корпус его глухо загудел и треснул, словно кокосовый орех. Японцы еще пытались выплыть: на поверхности реки виднелось несколько голов, — но к берегу уже подбегали крестьяне, размахивая копьями и длинными ножами-мечами, которыми обычно прокладывают дороги в джунглях.

Японцы поворачивали обратно, к противоположному берегу, но течение неумолимо сносило их вниз. Только один из них выполз на тот берег и залез в тростники. Наши лучшие охотники в легкой плоскодонной лодке немедленно бросились в погоню за ним.

— Ни один из них не должен уйти от нас, — говорили старшие, — иначе японцы приведут отряд побольше, чтобы отомстить нам.

Ребята, обязавшись веревкой, ныряли с лодок, чтобы достать со дна оружие, но выловили только один карабин и ящик гранат. Люди очень жалели, что зря пропало столько оружия.

Вот тогда я и почувствовал сильный, волнующий вкус свободы. Теперь я знал, что она важнее риса...



Спустя неделю на наше селение налетели три бомбардировщика. Разрывы бомб вырыли огромные воронки в центре селения: они были похожи на следы чудовищного зверя, который хотел растоптать нас. Воздушная волна снесла кокосы с пальм, сорвала крыши с нескольких хижин. У соседа погибло двое детей.

Совет решил: молодые и сильные идут в джунгли и будут издали следить за селением. Старые и слабые останутся, чтобы сторожить поля. Эти люди и встретят врага.

Но враг появился с воздуха. Большие пятнистые грибы покрыли небо. Под натянутым шелком висели парашютисты. Едва коснувшись земли, они автоматными очередями обстреливали ближайшие кусты. Видимо, боялись засады. Японцы шли осторожно, гнали впереди себя собранных по хижинам женщин. Но никто не стрелял. Наши защитники ушли в джунгли. Укрывшись в чащобе, прижавшись к слону, я плакал в бессильной ярости. Что я мог сделать? Пришлось возвращаться домой.

На следующий день я по приказу японского офицера уже погонял слона, и наш слон вытаскивал со дна реки сваи, которые, как нам еще недавно казалось, должны были оградить нас от врага. Подгоняемый свирепыми окриками маленького кривого японца, я в бешенстве сжимал кулаки. На берегу из джонки высаживался господин Бао с семьей. Он приглашал японцев к себе на обед. И так, гора вернулась!

Теперь я знал, что самое главное в жизни. Не рис, нет! От него можно было бы и отказаться. Гнев и боль раздирали наши сердца, мы желали одного — свободы. Я видел, как она изменяет людей, и чувствовал, что без нее уже не сумею жить...

В тот год жатва закончилась не танцами и песнями, не праздником урожая, а всеобщим плачем. Все зерно, едва только мы обмолотили снопы, было приказано отнести во двор господина Бао. Там рис рассыпали на подставленных циновках, чтобы зерно хорошо просохло. Солдаты стояли возле каждого поля и зорко смотрели за нами.

Да, то был страшный год! Мы голодали. Все кругом гибло. Последних двух кур и петуха мать держала в клетке, подвешенной под крышу. Мне долго пришлось притворяться больным, пока мать позволила мне выпить одно яичко. Все мое существо было занято мыслью о еде. Желудок без конца напоминал о себе.

— Отец, для кого это суп? — скулил я, видя, как он ставит мисочку на алтарь предков.

— Для духов нашего рода.

— Но ведь они сыты одним запахом, хватит с них и этого... Можно, я съем потом то, что останется?

— Нет, — отвечал отец, — ты уже получил свое.

Укладываясь спать на жесткой циновке и положив под голову собственный кулак, я хитро подумал: «Когда все заснут, подойду к цыпочкам к алтарю, достану мисочку и выпью весь суп, а потом скажу, что это сделали духи...»

Огонь в очаге угасал, бросая дрожащие тени на бамбуковую стену. Как назло, отец продолжал сидеть и тихонько потягивал трубку. Неожиданно, видимо, успокоенный нашим сонным дыханием, он легко встал и направился к алтарю предков. «Ага, значит, он для себя оставил этот суп!» — с завистью подумал я.

Но отец снял с полочки миску и, не одевая сандалий, тихонько спустился по приставной лестнице. При слабом свете мерцающих звезд я следил за ним и видел, как он прокрадывается среди бамбу-

ковой поросли в сторону кладбища, где были могилы, заросшие высокими острыми травами. В тишине ночи я услышал, как он трижды ударил в старый пень от толстого бамбука.

Я всматривался до боли в глазах. Пень медленно приподнялся, и из земли высунулись две руки. Отец опустился на колени и вложил мисочку в эти руки. Я присел от страха и неожиданности. До меня доносились негромкие звуки: подземный человек ел суп!

Отец что-то шепотом говорил этому «духу», тот отвечал ему. Затем «дух» вылез из-под земли, и они с отцом направились к реке. На японском посту сипела заигранная патефонная пластинка, слышались звуки пищалки и бубна. Долго-долго следил я за отцом, пригнувшись на верхней ступеньке нашей лестницы. На спину падали тяжелые капли росы, звенели москиты. Укусы их жгли меня, словно огонь. Я вздрагивал и, стяхивая с себя налетавшую дремоту, чесался до крови...

Неожиданно я услышал над рекой выстрел, взлетела осветительная ракета. Белый мигающий свет выхватил из темноты ночи верхушки деревьев. Спустя несколько минут отец вернулся, то есть вернулись они оба, только один, как тень, пропал под землей среди бамбуков и могил.

— Что ты тут делаешь, Хоанг? — обеспокоенно спросил отец.

— Отец, отец! — зашептал я. — Мне удалось увидеть, как ты приносишь жертвы подземным людям. Прощу тебя, отдай им завтра и мою порцию!

— Молчи! — схватив меня за плечо так, что стало очень больно, ответил отец. — Ты уже большой мальчик и, наверное, не захочешь погубить нас... — Он наклонился и прошептал мне на ухо: — Это Крот, понимаешь? Великий Крот!

Я покорно кивнул головой.

— Если ты сохранишь тайну, то я позволю тебе послушать поучения Великого Крота. А теперь иди спать, скоро рассвет.

Высунув голову сквозь прутья клетки, запел наш петух. Я прижался к отцу и сразу уснул. На следующий день я погонял нашего слона: работы на рубке леса начались снова. Японцам нужна была крепкая и упругая древесина.

И опять прошел день. Отец ночью выскользнул из хижины, но мной овладела такая усталость, что я уже не мог следить за ним.

Вот тогда я и решил просить Великого Крота дать мне риса для нашей семьи. Хотя в желудке у меня урчало так, словно там ерзала голодная крыса, я сдержал себя и отложил в сторону свою порцию риса. С наступлением сумерек я понес мисочку к могилам. Признаюсь откровенно, мне было страшно. Еще издали я узнал старый пень. Нагнувшись, я трижды легко постучал по нему.

Неожиданно прямо около меня послышался шепот:

— Это ты, Као Ванг?

— Нет, это я — Хоанг...

— Тебя послал отец? Случилось что-нибудь плохое?

Тут только я заметил, что голос исходит из трубки косо срезанного бамбука.

— Нет, я принес жертву...

— Посмотри вокруг, не подходит ли кто-нибудь, потом поставь мисочку и беги!

Я поднял голову и задрожал: неподалеку стоял слуга господина Бао. Он внимательно присматривался ко мне.

— Не показывайся сейчас, Великий Крот, — про-



шептал я,—или затяни в свое подземелье нашего врага, который стоит вон там!

— Отойди! Молчи!

Я сделал несколько шагов среди могил. Потом поклонился праху умерших.

— Чтишь предков? — слышался насмешливый голос слуги господина Бао. — Видно, вам хорошо живется, если ты жертвуешь им по целой миске риса!

— Мы приносим им жертвы потому, что очень бедны...

— Тени предков насыщаются запахом пищи, а не рисом!

— Наши умершие едят рис... — робко ответил я.

— Сказки рассказываешь! — крикнул слуга.

— Могу поклясться.

Мой недоброжелатель стоял, опираясь спиной о толстый ствол пальмы, и упорно смотрел на меня. Большая цикада терла ножками о крылья так, что звенело в ушах.

— Хотел бы я посмотреть на этих умерших... — как-то странно сказал слуга господина Бао. — Я бы попросил их подарить мне здоровье и богатство.

— Но ведь у тебя есть свои предки, — сказал я.

— Нет! Их могилы были запаханы господином Бао, когда он взял мою землю... Значит, говоришь, вы ставите тут еду, а предки приходят за нею?

Я кивнул головой. И тут меня вдруг охватил страх, что я раскрыл тайну отца. Но слуга погладил меня по голове и легким шагом направился в сторону двора господина Бао. Я поставил мисочку возле старого пня и удрал домой.

— Мама, — спросил я, — разве умершие едят рис?

— Нет! Но есть такие, что пьют кровь из людей. Если при жизни они обижали других, были жадными, отбирали у них силы, то...

— Это те, кто из рода господина Бао?

— Тише! — зашипела мать. — А то...

— Зачем пугаешь ребенка? — возмутился отец.

Живые во сто крат страшнее вампиров...

Я с удивлением смотрел на отца. Он не боялся никого, хотя был очень тихим. Отец положил мне на голову руку и многозначительно сказал:

— То, что у нас будет происходить сегодня, должно для тебя пройти, как сон. Я считаю тебя мужчиной.

Настала глубокая ночь, но мать все не гнала меня спать и готовила крепкий, пахнущий дымом чай. Потом очаг погас. И тут в хижину начали сходить люди. Откуда они появились, я так и не понял, хотя изо всех сил таращил глаза. Они выскальзывали из темноты, останавливались и прислушивались, принимая к сваям, на которые опиралась наша хижина.

— Что тебе надобно? — спрашивал отец.

— Я пришел к тебе, сосед, одолжить мотыгу.

«Что это им всем вдруг ночью понадобились мотыги?» — с удивлением думал я, когда они карабкались по лестнице наверх, исчезая в глубине хижины. Так я насчитал шестнадцать человек. Никто и не догадался бы, что у нас в доме полно людей. Они молчали. Только изредка булькала вода в трубках гостей.

Отец спустился вниз, прошел к кладбищу и привел оттуда Великого Крота. Тот прошел так близко от меня, что я почувствовал запах глины на его одежде.

— Останься здесь! — приказал мне отец. — Правда, у нас есть пост на тропинке, но и ты держи глаза открытыми...

Я немножко побаивался. Укрывшись меж свай, я наблюдал за нашим двором. Изредка до меня доносился тихий голос Великого Крота — подземного человека:

— Почему вы бедны? Ну, отвечайте...

— Это очень просто: у нас нет земли, — отвечали ему.

— А может быть, вы мало работаете? — настаивал Крот.

— С рассвета и до поздней ночи наши спины



сечет ливень и палит солнце! — отвечали люди. — Мы работаем изо всех сил.

— А кто у вас богаче всех? — спрашивал Крот.

— Господин Бао.

— Так он, видно, работает больше всех вас?

— Нет, что ты! — возмущенно откликалось несколько голосов. — Он даже пальцем не пошевеливает.

— Тогда откуда у него рис, от которого он жирует?

— Мы приносим ему рис, мы обрабатываем его поля. Он сдает нам землю в аренду.

— А разве у вас никогда не было своей земли?

— Ох, каждый из нас имел хоть одно му... Но мы не смогли вовремя вернуть долги господину

Бао: то болели дети, то пал буйвол, то саранча сожрала рис на корню, — трудно было обернуться. А он за каждый одолженный килограмм риса требовал через год пять. Вот не вернули ему в срок долга, он и отобрал у нас землю...

Теперь я все понял. Тот подземный* человек был посланцем партизан. Он учил крестьян, как распознавать врага, как бороться с ним, как жить дальше.

— ...Японцы уйдут, как и пришли, а господин Бао останется и будет угнетать вас по-прежнему! — доносился до меня горячий шепот Великого Крота. — Он служил французам, теперь

же служит японцам... Вы думаете, что он их любит и потому делится с ними награбленным? Нет, ему нужны их штыки: ведь он один. Он боится вас. Да, да! Вас так много, как муравьев в муравейнике, а муравьи, как вы знаете, если заберутся в хобот слона, то могут заставить его в бешенстве биться головой о скалы до смерти. Вы дышите тяжело, потому что страдаете. Но если миллион крестьян дунет с силой, то образуется ураган, который сметет крепости любых богачей!..

Мне вдруг показалось, что кто-то чуть слышно подкрадывается к нашей хижине, осторожно раздвигая кусты. Да, теперь я отчетливо услышал это, так как на пути врага смолкали цикады. Кто-то приближался со стороны полей, где не было нашей охраны. Мимо меня пролетела сова, и голова ее показалась мне похожей на голову господина Бао..

Неожиданно с другой стороны я услышал тяжкую поступь. По тропинке двигался наш слон. Я различал его очертания — линию спины на фоне звездного неба.

— Ищи, ищи, наш друг! — просил я его.

Слон вытянул хобот и нюхал воздух. Вдруг он гневно загудел и рысью бросился в кусты. Из кустов кто-то выскочил и метнулся прочь.

— Держи его, это шпион! — закричал я слону.

Удравший обернулся, но слон уже обхватил его хоботом. Человек извивался, как червяк. Потом слон вздрогнул, захрипел и, приподняв тело врага, изо всех сил ударил его о землю.

Вокруг меня уже стояли крестьяне, которые беззвучно спустились из хижин. Они сжимали в руках ножи. Отец чиркнул спичку и склонился над трупом. Это был слуга господина Бао, которого я видел на кладбище. Два крестьянина подняли тело и молча понесли к реке.

Слон хрипел, дрожал и издавал тихие стоны, как бы жалуясь на что-то.

Когда мы с отцом подошли к нему, я принялся гладить слона и успокаивать, но почувствовал, что моя рука стала мокрой и липкой. Это была кровь. Шпион ударил ножом по хоботу нашего слона! Только теперь я понял, почему наш слон — такой обычно ласковый и спокойный — убил человека... Отец травами и лоскутками перевязал раненое место, и слон успокоился.

— Отец, что же теперь будет? Я видел, как японцы такими большими стальными прутьями кололи землю — искали укрытия и тайники. Если шпион

не вернется, то начнутся обыски, могут найти нашего...

— Не бойся!.. Великий Крот — человек, который приносит нам надежду, — не будет пойман. Никто не видел его лица. А у него тысяча лиц и много новых тайников.

Отец вынул из кожаной сумки засушенный шип тернового дерева, заканчивающийся клочком пуха, привязанного конским волосом. Потом вставил этот шип в небольшую бамбуковую трубку и изо всей силы дунул в нее. Что-то прожужжало, словно пролетела муха, и оперенный шип впился в дверь.

— О, что это? Ты будешь охотиться на птиц? На что тебе такая игрушка, отец? — с удивлением спросил я.

— Игрушка?! Это — самое тихое и грозное оружие, сынок. Только не вздумай дотрагиваться до шипов, которые я подвесил под крышей, понял? Они вымочены в очень сильном яде. Завтра ночью я ухажу.

— Я пойду с тобой! — сделал умоляющий жест, сказал я.

Отец долго и серьезно смотрел на меня.

— Ладно... Может быть, нам удастся пробиться. Великий Крот говорит, что надо опередить японцев, пока они подтянут подкрепления и приготовятся к облаве. Надо взять рис и оружие...

— А что будет с нашим селением, с мамой, с ребятами?

— Потом заберем всех... Укроемся в джунглях. Японцы заняли все тропы, ведущие к горам. Нам трудно будет пройти. Займись своей работой, выкупай слона, вытщи у него из ног колючки. Купай его недалеко от форта, тогда сможешь вести наблюдение.

— Мы и так с японцев глаз не спускаем. Там сейчас дежурят мои товарищи.

...В тот вечер мы с отцом выбрались из селения вдвоем. В этом нам помог слон. Он шумно ломал ветви и так бушевал в прибрежных кустах, что японцы выпустили несколько ракет. Когда в мерцающем свете вражеские солдаты заметили слона, раздался успокоенный смех.

Мы сняли одежду и, связав лианами узелки, положили их на головы. Около берега вода доходила только до колен; течение несло глинистый ил. Ночь была сырая и душная. Отец шел впереди, пробуя грунт длинным шестом.

— Берег скрывает нас от врагов, — шептал отец, когда мы остановились, чтобы переждать взлетевшие над рекой осветительные ракеты. — Если даже патруль и возьмет собак, то они не нападут на наш след.

Под склонившимися к самой воде деревьями бурлила речка. Мы шли по ее руслу, все дальше углубляясь в джунгли. Я то и дело вздрагивал, когда мокрые листья касались моей голой спины. Большие светлячки проносились мимо, как зеленые огни.

— Слушай, — говорил мне отец, — речка разлилась после обильных дождей. Это плохо. Скоро мы выйдем на тропу. Потом два часа ходьбы и брод, по которому нам надо перейти на ту сторону. Под горой наши посты. Тут, у меня на шее, висит кусок бамбука, в котором спрятано донесение. Я говорю тебе об этом потому, что не известно, что нас ожидает, какая судьба записана нам в звездах.

Мы шли довольно быстро. Неожиданно отец остановился, я чуть не налетел на него. Только было хотел спросить, в чем дело, как он зажал мне рот рукой. Мы залезли в кусты и осторожно раздвинули ветви. Далеко впереди, на тропе, замаячил длинный белый снопик света.

— Что это? — шепотом спросил я.

— Электрический фонарь. Патруль!

Японские солдаты прошли так близко, что я чувствовал запах кожи от их ремней. Пять человек! Когда вдали замер звук шагов и оружия, отец прошептал:

— Где-то здесь их пост.

Мы попытались обойти страшное место, но густая сеть колючих лиан замыкала все проходы, а удары ножа, которым, отец хотел пробить себе дорогу, производили слишком много шума. Мы по дуге вернулись на тропу. Пошел крупный дождь, капли гулко били по листьям деревьев, которые образовали над тропой нечто вроде свода. Теперь можно было идти смелее.

Неожиданно раздался громкий звон, свист и шум. Я окаменел, ослепленный блеском взлетевшей ракеты.

— Стой! Стой! — послышался крик.

Мы бросились прочь с тропы. Изо всех сил я бил руками по колючим сплетениям лиан, вокруг все чаще свистели пули. Вдруг отец упал, но попытался подняться и ползти.

— Хоанг! Меня ранили... — прошептал он. — Беги!

Он сунул мне в руки сорванный с шеи кусок бамбука, легонько толкнул вперед. Японцы уже окружали нас, не было времени раздумывать, я вложился в кусты, поспешно перелез через ствол огромного поваленного дерева и скользнул в крошечный мрак. Отсюда мне было видно при свете фонарей, как волокли моего отца. Потом движение на тропе прекратилось и постепенно отозвались примолкшие было цикады, а светлячки зелеными молниями пролетали возле самого моего лица.

Я боялся джунглей: тут можно было наткнуться на тигра. Боялся и тропы: там притаились японцы. И все же я шел, ориентируясь на шум реки. Мое спасение зависело от встречи с партизанами, но найду ли я их?..

Осторожно отодвигая ветви, я крался к реке. Вдруг на шею мне свалилась отвратительная пиявка «кон-вата», вторая вцепилась в протянутую руку. Я отрывал их противные, скользкие и яростно извивающиеся тела. В просвете между деревьями слегка поблескивал брод. И тогда я скорее угадал, чем увидел: в двух шагах впереди сидел японец, прислонившийся спиной к стволу огромного дерева. К счастью, он смотрел в сторону реки, иногда вздрагивал: его, видимо, нещадно кусали москиты, тучами налетающие с реки.

Эх, если бы у меня была трубка с отравленными шипами! Японец даже не услышал бы удара. Сдерживая дыхание, чуть ступая, я шаг за шагом отступил в лес. Нужно было переплывать реку.

Брат, ты не знаешь наших рек! Черные, быстрые, гневно бурлящие, с меняющейся стремниной, они опасны. Я боялся, что течение понесет меня, затолкнет куда-нибудь под корни деревьев, в зеленые водоросли, длинными космами развещающиеся в воде... С минуту я стоял на берегу, дрожа от страха и холода. Но переправиться через реку — это единственная возможность спасти отца. Я понимал, что его будут пытать.

У меня был метровый платок из разорванного японского парашюта. Я собрал его концы в руке так, что образовался гриб из шелка. Конец связал лианой. Потом осторожно сошел к воде. Донесение было в бамбуковой трубке, плотно заткнутой колышком: с бумагой ничего не случится. Судорожно держась за свой шелковый «пузырь», я по груды

погрузился в реку, оттолкнулся ногами и, не произведя шума, позволил течению подхватить себя. Нет, никто не стрелял. Когда я почувствовал под ногами скользкие, наполовину сгнившие сучья, то стремительно выскочил на берег. Дрожал я скорее от страха и отвращения, чем от холода. Одевался поспешно, срывая приставших пиявок и с ненавистью растаптывая их ногой.

Теперь я шел вдоль берега, обходя поваленные деревья и разыскивая тропу. Лес беспокойно шумел. Что-то кралось в темноте, хрюкало, чавкало, и снова наступала затаенная тишина. Вдруг передо мной возникла тропа. С облегчением почувствовал я под ногами скользкую от недавно прошедшего ливня глинистую поверхность тропы. Пошел быстрее. Напрягал зрение, но ничего пока не видел подозрительного, только летучие мыши так низко пронеслись надо мной, что я ощущал дуновение их бесшелестных крыльев и омерзительный мускусный запах.

— Найду ли я своих? — шептал я. — Партизаны, друзья, братья, покажитесь мне!..

Но по-прежнему только тяжелые капли с гулким звоном падали на раскачивающиеся под ветром листья, а светляки писали непонятные знаки в душном, влажном воздухе... Я стиснул зубы и упрямо шел мелким, быстрым шагом. Мне хотелось плакать. Ведь сейчас ночь, значит, тигры вышли на охоту.

Что-то навалилось на меня, обмотало лицо. Я задышался. Услышал чей-то шепот. Нет, то были не японцы!

— Братья, братья! — сипел я сквозь повязку, но меня не слушали и вязали мне руки за спину.



— Молчи! — цыкнул один, уперев мне в грудь дуло автомата. — Молчи, не то смерть!

Меня повели через поток, а затем по тропке, вытоптанной кабанями. Вошли в какое-то заросшее кустами ущелье. Тут в одном месте неожиданно отодвинули циновку, и я оказался в гроте, освещенном отблесками весело потрескивающего костра.

— Мы поймали шпиона! — доложил невысокий вьетнамец.

— Нет, я не шпион! Моего отца захватили японцы... Мы шли к вам с донесением!.. — плача от обиды, воскликнул я.

— Где это донесение? — спросил командир, грея руки над пламенем костра.

— Здесь, на шее...

Но на шее бамбукового отрезка не было: видимо, во время переправы течение сорвало его. Донесение пропало! Я упал на землю и горько зарыдал. Партизаны молча смотрели на меня. Только на костре порой потрескивал горевший бамбук.

— Расскажи нам все по порядку. Если ты не послан японцами, то тебе ничего не грозит, никто тебя не обидит. Только не лги и не выдумывай...

— Я Хоанг с большого слона... В вашем отряде должны быть люди из нашего селения. Они знают меня.

— Они знали тебя прежде! — сурово возразил командир. — Кто может знать, что скрывает твоё сердце сегодня? Развяжите ему руки. Дайте парню поесть.

Меня охватило отчаяние: как мне убедить их, что я не лгу? Возле костра лежал нож. Я метнулся к нему, жадно схватил и хотел ударить себя в грудь, но чья-то сильная рука на лету сжала запястье, и нож упал на землю.

— Ты что, с ума сошел? — грозно крикнул командир. — Зачем ты хотел убить себя?

— Он хотел смерти, чтобы мы не допрашивали его. Это шпион! — закричали партизаны.

— Разрежьте мое сердце и загляните в него, — кричал я, обливаясь слезами, — вы увидите: в нем нет измены!

Командир знаком подозвал к себе одного из партизан и что-то шепнул ему. Бойцы молча смотрели на меня, хотя и вернулись к прежним занятиям:

чистили оружие, починали обмундирование, в углу плели легкую лодку из бамбукового лыка.

Мне позволили говорить. Я рассказал все: об оружии, о ящиках с боеприпасами, о численности японского гарнизона в нашем форту, о догадках отца. Командир задавал мне вопросы. Однако не на все я сумел ответить. Вдруг циновка у входа приоткрылась, и вошел мокрый от дождя партизан. Брюки его были подвернуты до колен, ноги измазаны в грязи. Он подал командиру кусок бамбуковой трубки, с конца которой свисал порванный шнурок.

Командир ловкими ударами вышиб на руку свернутое в несколько раз донесение. Потом повернулся спиной к огню и внимательно перечитал все. Тонкая бумага светилась в его руках.

— Дорогой мальчик! — наконец сказал он. — Благодарим тебя от всего сердца. Садись тут, отдохни. Повар уж как-нибудь позаботится о тебе, не беспокойся. А вы, братья, собирайтесь, пора в путь! Нельзя терять времени...

— Нет, я не останусь! Хочу идти с вами! — закричал я.

— Ты еще слишком мал! Устанешь.

— Там мой отец! Я должен дойти!

Это решило вопрос.

Один за другим выходили партизаны из грота в душную темную ночь. Мы шли теперь другой дорогой. Некоторые бойцы несли на плечах легкие лодочки, похожие на огромные листья... Когда шум реки стал совсем близким, командир включил фонарик и описал им круг. Мы стали всматриваться в противоположный берег. Оттуда последовал ответный сигнал: зеленый светлячок трижды описал круг. Значит, там были наши разведчики, и они давали знак: путь свободен...

Лодки сносило стремительным течением, они прыгали, как нетерпеливые кони. Через несколько минут мы бесшумно ползли вниз, подобно теням, замаскированные ветками. Берега, вершины деревьев с сетью воздушных корней мелькали быстро, и я не заметил, как меня сморил сон. Спал я, опершись на спину гребца.

— Вставай, парень! Приехали!

Я вскочил и, если бы меня не подхватил боец, свалился бы в воду. Нас прикрывал высокий берег. Место было мне знакомо: мы находились неподалеку от нашей пристани. Направо от нас росло высокое дерево, за ним начинались засеки и минное поле. Из темноты появлялись бойцы. Я слышал их рапорты. Атака предстояла трудная. Как пройти через ряды колючей проволоки, как обезвредить смерть, притаившуюся в минах под зеленым деревом?

— А что, если я подбегу под самый форт и воткну шест с динамитным зарядом прямо в бойницу? — предложил я командиру.

— Тебя увидят еще на засеках! У них есть противотанковые ракеты: только дотронешься до проволоки, и... фью-у-у сразу белым-бело, и ты у них как на ладони... Не годится, мальчик!

Над нашими головами, как огромная глыба, темнела отвесная стена форта. Желтел блик света, проникающего из узкого, как кошащий зрачок, оконца караульной... И тут я услышал резкий крик. Так кричит человек, которого пытаются. Дрожь охватила меня: я узнал голос отца.

— Пустите меня! — взмолился я. — Дайте мне оружие, я и один пойду туда!

— Подожди, глупыш!

— А что, если мы срубим это дерево и по нему

перебежим туда, как по мосту?.. — предложил кто-то из бойцов.

— Первый удар топора поднимет на ноги весь гарнизон, — сурово ответил командир, — и тогда весь наш план рухнет.

— Ждите здесь! — шепнул я. — Есть слон!

Я выскользнул из рук бойца и, как ласка, метнулся к плетеным стенам хижин. К счастью, слон был неподалеку. Он приветливо похрапывал, еще издали почуяв меня.

— Дорогой мой слон! Господин Гора! Пойдем со мной, спаси моего отца! — молил я нашего слона.

Он обнюхал меня, вслушался в мой голос, потом медленным шагом, задумчиво, как бы только поддаваясь моим просьбам, тронулся за мной. Я свел слона к реке, и берег закрыл его.

— Вот видишь это дерево, господин Гора? Толкни его! — взволнованно шептал я слону. — Повали! Покажи свою силу!

Слон топтался на месте, примеривался. Его беспокоил запах чужих людей, притаившихся в темноте. Однако он все же послушался меня. Уперся лбом в ствол, согнул спину. Дерево задрожало от вершины до самых корней.

— Не справится! — с досадой шепнул командир.

Стояла такая тишина, что я слышал, как из полуоткрытого окошечка форта доносятся голоса японцев, свист бича и стоны моего отца...

— Толкни! — глядя слона по толстым коленям, просил я. — Нажми изо всех сил! Я помогу тебе!

В отчаянии я тоже налег на ствол, но слон хоботом резко отодвинул меня в сторону. Потом он еще раз примерился, нажал, и вдруг дерево, как порыв зеленого шума, легло на засеки, достав вершины края крыши форта. Бойцы с обезьяньей ловкостью, раздвигая ветви, ринулись по упавшему стволу в стан врага. Одновременно с первыми взлетевшими ракетами японцев взорвались и первые гранаты партизан. Длинной очередью зататакал пулемет. Испуганный всей этой суматохой, слон рысью бросился к реке и спрятался под берегом. Вокруг ро-ем свистели пули...

Красным переливающимся пятном уже расцвели в реке огни пожара. Японцы начали сдаваться, когда послышался крик:

— Склад! Там оружие и боеприпасы!..

— Скорее, а то взлетим на воздух!

Пожар бушевал все сильнее. Солдаты бегали вокруг зданий, но окованные железом двери сломать было трудно. И снова пришла очередь вмешаться моему другу и защитнику:

— Слон! Давайте сюда слона!

— Не пройдет. Подорвется на минах!

В этот момент со стороны деревни прибежали привлеченные пожаром люди. Кто-то сказал:

— Зацепите лодочную цепь за решетку склада, где боеприпасы, и перебросьте сюда! Слон потянет, и все в порядке!

Трудно было вернуть слона к месту пожара. Однако он поддался моим уговорам. Правда, он гневно фырчал, но дергал цепь, а люди помогали ему певучими окриками. Вдруг решетка вместе с частью стены вывалилась наружу. Бойцы бросились в склад. Уже стали выносить ящики с патронами и гранатами. Их укладывали под берегом. Двое партизан вытащили моего отца. Простреленное плечо покрыто запекшейся кровью, все тело исполосовано бичом... Однако он смеялся и плакал от радости, пожимая руки партизанам.

Ящиков становилось все больше и больше. Партизаны мочили блузы в реке и, прикрывая ими лица, мчались сквозь огонь к горевшему складу. Им



было жаль каждой пачки патронов, каждого штыка, каждой гранаты...

Неожиданно я почувствовал, как что-то сильно толкнуло меня в грудь; взрыв грохотом покатился над нами. Река посветлела от искр, развеванных взрывом. Пожар утих, но в глубине закопченных руин еще продолжали рваться гранаты. Я прижался к груди отца...

— Как хорошо, что ты здесь! Жив... с нами...

— Да,— шепнул отец, глядя на пожарище,— но там пал молодой командир, который спас меня, там погибло несколько бойцов. Мы должны заменить их!

— Я тоже пойду с тобой, отец!

— Мы все уйдем в джунгли. Там построим новое селение и будем бороться!

— И наш слон тоже пойдет с нами!

— Конечно! Только мы изменим ему имя,— отозвался из темноты чей-то голос.— С сегодняшнего вечера мы будем называть его Дон Ти — «Тот, который желает того же, чего и мы». Ибо так звучит по-вьетнамски великое слово «товарищ»!

Я узнал этот голос, полный вдумчивости и ясности,— то говорил Великий Крот, руководитель борющихся за свободу...

* * *

Молодой вьетнамец задумался. Я с нетерпением посмотрел на него и спросил:

— Ну, а что было дальше?

— Дальше?.. — все еще задумчиво повторил он.— А! Когда мы прогнали японцев, вернулись французы. Хотя они поклялись считать нас союзниками, их генералы вскоре напали на нас. Города вновь под-

верглись обстрелу и бомбардировке. Борьба продолжалась. Ты помнишь крепость Дьен Бьен Фу? Колонизаторы заявили, что мы никогда не овладеем ею, что у наших пушек не вырастут крылья, чтобы перелететь через поросшие джунглями высокие горы. Они не знали наших людей! На вершинах скал запылали костры, собирались крестьяне. Десятки тысяч рук рубили непроходимые дебри, носили в корзинах гравий, добываемый со дна потоков. Слоны валили деревья, волокли бревна... С каждым днем вытягивалась дорога, ведущая к победе. Наш Дон Ти тоже работал там так, словно понимал нас и наши заботы...

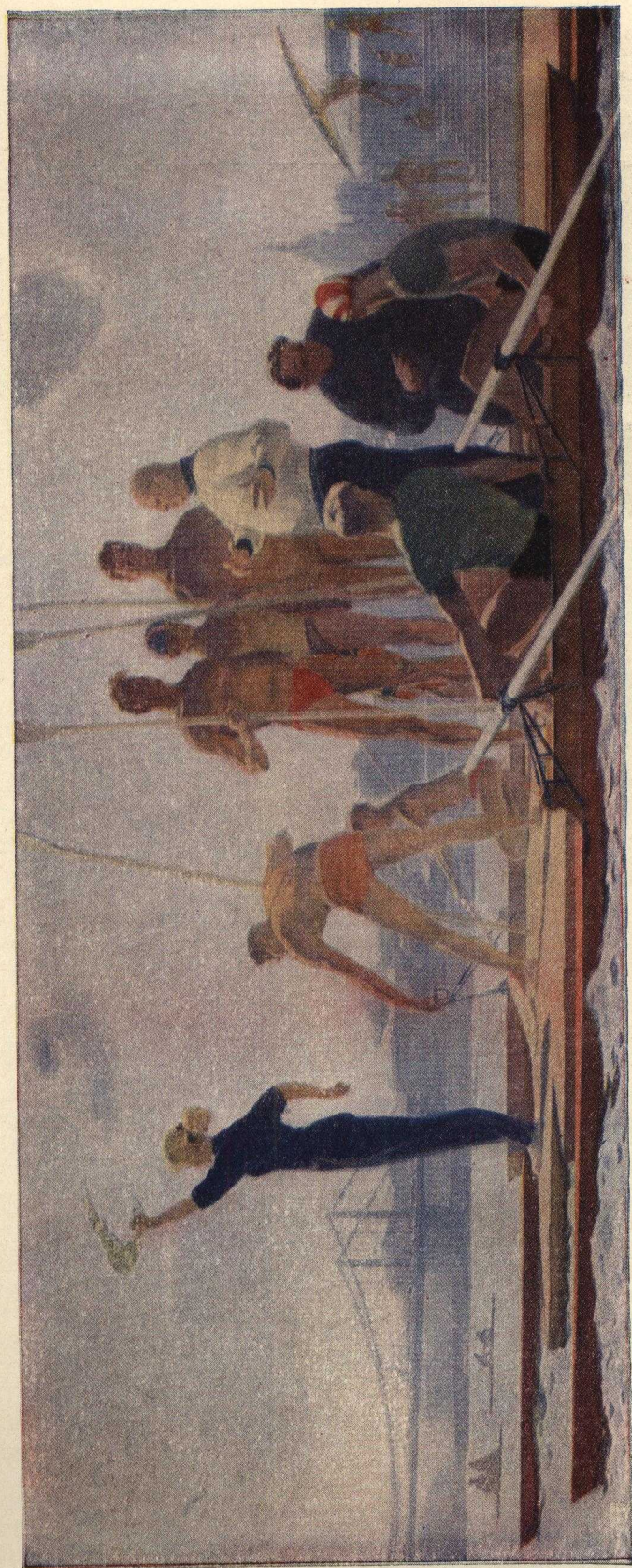
И однажды ночью по той дороге проехали орудия, добытые нами в боях. Укрепленный район Дьен Бьен Фу мы взяли штурмом.

Соглашение о перемирии принесло свободу половине нашей страны. И тогда все мы пожелали оказаться в той части, которой руководил наш отец Хо. А вы помогли нам в этом. Ваши корабли прибыли к нам и перевозили наших бойцов в Хайфон.

У нас тогда не было ничего, чем мы могли бы отблагодарить вас за эту помощь. За дружбу платится сердцем... Я отдал вам самое дорогое — нашего слона. Он уже наработался и постарел, он сражался, как солдат, и действительно заслужил свое новое имя. Любите его так, как любили его мы...

Мы с молодым вьетнамцем долго смотрели, как несколько мальчиков кормили слона кусками булочки. Слон переступал с ноги на ногу, махал огромными ушами. В одном было отверстие: след вражеской пули. Дон Ти вытягивал хобот и осторожно брал лакомство из детских ручонки.

Перевел с польского Я. Немчинский.



НА МОСКВЕ-РЕКЕ.

Ю. Королев, Б. Тальберг.



ПЕТР I.

В. Серов.



рассказы о Петре и его времени

Рисунки П. Павлинова.

КАПИТАН БОМБАРДИРСКОЙ РОТЫ

Русская армия шла к Нарве.

«Тра-та-та, тра-та-та», — выбивали походную дробь полковые барабаны.

Шли войска через старинные русские города Новгород и Псков, шли с барабанным боем, с песнями. Стояла сухая осень.

И вдруг хлынули дожди. Пооблетали листья с деревьев. Размыло дороги. Начались холода. Идут солдаты по размытым дождем дорогам, тонут по колено солдатские ноги в грязи.

Трудно солдатам в походе. На мосту при переправе через небольшой ручей застряла пушка. Продавило одно из колес гнилое бревно, провалилось по самую ступицу.

Кричат солдаты на лошадей, бьют сыро-

мятными кнутами. Кони за долгую дорогу отошались — кожа да кости. Напрягаются лошаденки изо всех сил, а пользы никакой: пушка ни с места.

Сгрудились у моста солдаты, обступили пушку, пытаются на руках вытащить.

— Вперед! — кричит один.

— Назад! — подает команду другой.

Шумят солдаты, спорят, а дело вперед не движется. Бегают вокруг пушки сержант. Что бы придумать, не знает.

Вдруг смотрят солдаты, несется по дороге резной возок. Подскакали сытые кони к мостку, остановились. Вылез из возка офицер. Взглянули солдаты: капитан бомбардирской роты. Рост у капитана громадный, метра два, лицо круглое, глаза большие, на губе, словно наклеенные, черные, как смоль, усы.

Испугались солдаты, вытянули руки по швам, замерли.

— Плохи дела, братцы, — произнес капитан.

— Так точно, господин бомбардир-капитан! — гаркнули в ответ солдаты. Ну, думают, сейчас капитан ругаться начнет.

Так и есть. Подошел капитан к пушке, осмотрел мост.

— Кто старший? — спросил.

— Я, господин бомбардир-капитан, — проговорил сержант.

— Так-то воинское добро бережешь! — набросился капитан на сержанта. — Дорогу не смотришь, коней не жалеешь!

— Да я, да мы... — заговорил было сержант.

Но капитан не стал слушать, развернулся и — хлоп сержанта по шее. Потом подошел опять к пушке, снял нарядный, с красными отворотами кафтан и полез под колеса. Поднатужился капитан, подхватил богатырским плечом пушку. Солдаты аж крикнули от удивления. Подбежали, поднавалились.



Дрогнула пушка, вышло колесо из пролома, стало на ровное место.

Расправил капитан плечи, улыбнулся, крикнул солдатам: «Благодарствую, братцы!», — похлопал сержанта по плечу, сел в возок и поскакал дальше.

Разинули солдаты рты, смотрят капитану вслед.

— Ну и дела! — произнес сержант.

А вскоре солдат догнал генерал с офицерами.

— Эй, служивые! — закричал генерал. — Тут государев возок не проезжал?

— Нет, ваше благородие, — ответили солдаты, — тут только и проезжал бомбардирский капитан.

— Бомбардирский капитан? — переспросил генерал.

— Так точно, ваше благородие! — отвечали солдаты.

— Дурни, да какой же это капитан, это сам государь Петр Алексеевич!

СТРАХ, ОН ХУЖЕ СМЕРТИ

Солдат Федор Грач сидел в окопе. Держал Грач в руке тяжелое кремневое ружье «фузею», ждал, когда подойдут шведы. Отродясь еще не приходилось Федору стрелять из ружья. Не обучив ружейным приемам, так и послали на войну.

— Боязно? — спрашивает Федора сосед по окопу, усатый, уже немолодой солдат.

— Боязно, — отвечает, краснея, Грач.

— Оно и понятно, — говорит солдат. — А ты не думай о страхе. От него, от страха, немало зла на войне бывает. Страх, он еще хуже смерти.

В ночь перед приходом шведов пал туман. К рассвету пошел снег. Поднялся ветер, погнал в сторону русских снежные вихри. Холодный ветер леденил солдат. Вьюжило. В двадцати шагах нельзя было различить друг друга.

Усатый солдат то и дело прикладывал к земле ухо: слушал, не идут ли шведы.

Шведы появились неожиданно, словно изпод земли выросли. Обрушились шведские стрелки на русские окопы.

Поднял Грач ружье, выстрелил. А что дальше произошло, уже и понять не мог. Перемешались в окопах русские и шведские мундиры. И рад бы стрелять Федор, а куда, не знает. Разыгралась вьюга, слепит глаза: где свой, где швед, разобрать трудно.

И вдруг прошел слух: «Немцы предали!». Оказывается, барон Галларт и другие иностранные офицеры перешли на сторону шведов. Оставшись без командиров, русские дрогнули, началась паника. Полки устремились к Нарове. Солдаты бежали к единственному мосту через реку. Вместе со всеми бежал и Федор Грач. Бежал, не видя ничего, бежал, спотыкался, падал, поднимался и снова бежал. Мост был временный, легкий. Подбежал Грач к мосту и вдруг вспомнил слова бывшего солдата.

— Стой! — закричал Федор. — Стой, братцы! Страх, он хуже смерти!

Кричит Грач, но никто не обращает на него внимания. Хватает Грач товарищей за руки, хочет остановить. Да где уж! Оттолкнули солдаты Федора в сторону, побежали по шатким, прогибающимся доскам моста. Мост прогнулся. Деревянный настил осел, коснулся воды. Забурлила вода, заклокотала. И вдруг мост не выдержал. Оборвались непрочные пеньковые канаты. Скрипнул мост, развалился.

Смотрит Грач на Нарову, несет река свои воды, тащит в пучину русских солдат.

Отвернулся Федор, сел на камень, схватился за голову. Вдруг слышит Грач, кто-то положил ему на плечо руку. Поднял Федор голову, смотрит, перед ним бывалый солдат.

— Видишь, что страх делает? — говорит солдат.

— Вижу, — отвечает Федор.

— То-то, — говорит солдат. — Знай. А сейчас бери фузею. Слышишь, справа пальба идет, то царевы гвардейские полки, Преображенский и Семеновский, бьются. Пошли на помощь. А что народ гибнет, на то и война. Тут, кто страх поборол, тот и есть настоящий солдат.

ПРО КОЛОКОЛА

— Данилыч, — вскоре после Нарвы сказал Петр Меншикову, — с церковью колокола снимать будем.

У Меншикова от удивления глаза на лоб.

— Что уставился? — крикнул на него Петр. — Медь нужна, чугун надобен, колокола на пушки лить будем!

— Правильно, государь, правильно, — стал поддакивать Меншиков, а сам понять не может, шутит царь или говорит правду.

Петр не шутил. Вскоре по разным местам разъехались солдаты выполнять царский приказ.

Прибыли солдаты и в большое село Лопасню. Приехали солдаты в село к темноте, въезжали под вечерний звон. Гудели в зимнем воздухе колокола, переливались разными голосами. Сосчитал сержант колокола — восемь.

Пока солдаты распрягали коней, сержант пошел в дом к настоятелю. Узнав, в чем дело, настоятель насупился, сморщил лоб. Однако встретил солдат приветливо, заговорил:

— Заходи, служивый, заходи, зови своих солдатушек. Чай, замаялись в пути, продрогли.



Солдаты входили в дом осторожно, долго очищали снег с валенок, крестились.

Настоятель солдат накормил, принес вина.

— Пейте, служивые, ешьте!..

Охмелели солдаты, уснули. А утром вышел сержант на улицу, посмотрел на звонницу, а там всего один колокол болтается.

Кинулся сержант к настоятелю.

— Где колокола, — закричал, — куда колокола девали?

А настоятель руками разводит и говорит:

— Приход у нас бедный, всего и есть один колокол на весь приход.

— Как один? — возмутился сержант. — Вчера сам видел восемь штук да и перезвон слышал!

— Что ты, служивый, что ты? — Настоятель замахал руками. — Что ты выдумал? Это тебе с пьяных глаз показалось!

Понял сержант, что неспроста их вином поили. Собрал солдат, весь собор осмотрели, подвалы излазили. Нет колоколов, словно в воду канули.

Пригрозил сержант донести в Москву.

— Доноси, — ответил настоятель.

Однако писать сержант не стал. Понял, что и ему быть в ответе. Решил остаться в Лопасне, вести розыск.

Живут солдаты неделю, вторую. По улицам ходят, в дома наведываются. Только про колокола никто ничего не знает. «Были, — говорят, — а где сейчас, не ведаем».

Привязался за это время к сержанту мальчишка — Федькой звали. Ходит за сержантом, фузею рассматривает, про войну спрашивает. Шустрый такой, все норovit у сержанта патрон стащить.

— Не балуй! — говорит сержант. — Найди, где попы колокола спрятали, — патрон твой.

Два дня Федьки не было видно. На третий прибегает к сержанту, шепчет на ухо:

— Нашел!

— Да ну! — не поверил сержант.

— Ей-богу, нашел, давай патрон!

— Нет, — говорит сержант, — это мы еще посмотрим.

Вывел Федька сержанта за село, бежит на лыжах-самodelках берегом реки, сержант едва за ним поспекает. Крутит поземка, перекатывается по насту снег. Федьке хорошо, он на лыжах, а сержант спотыкается, проваливается в снег по самый пояс.

— Давай, дяденька, давай, — подбадривает Федька, — уже скоро.

Отбежали от села версты три, за береговой кручей спустились на лед.

— Вот тут, — говорит Федька.

Посмотрел сержант — прорубь. А рядом еще одна, а чуть дальше еще и еще. Сосчитал — семь. От каждой проруби тянутся примерзшие ко льду канаты. Понял сержант, куда настоятель колокола спрятал: под лед, в воду. Обрадовался сержант, дал Федьке патрон и кинулся быстрее в деревню.

Приказал сержант солдатам лошадей запрягать, а сам зашел к настоятелю, говорит:

— Прости, батюшка, видать, и впрямь с пьяных глаз я тогда перепутал. Покидаем мы ноне Лопасню. Уж ты не гневайся, помолись за нас богу.

— В добрый путь, — заулыбался настоятель, — в добрый путь, служивый, уж помолюсь, обязательно помолюсь!

На следующий день настоятель собрал прихожан.

— Ну, миновало, — сказал он, — пронесло беду стороной.

Пошли прихожане к реке колокола вытаскивать, сунулись в прорубь, а там пусто.

— Ироды, богохульники! — закричал настоятель. — Уехали, увезли, пропали колокола!

А над рекой гулял ветер, залезал под поповскую рясу, трепал мужицкие бороды и бежал дальше, рассыпаясь крупной по косогору.

СЕНО — СОЛОМА

Поняли русские после Нарвы, что с необученным войском против шведа не повоюешь. Решил Петр завести регулярную, постоянную армию. Пока нет войны, пусть солдаты занимаются ружейными приемами, привыкают к дисциплине и порядку.

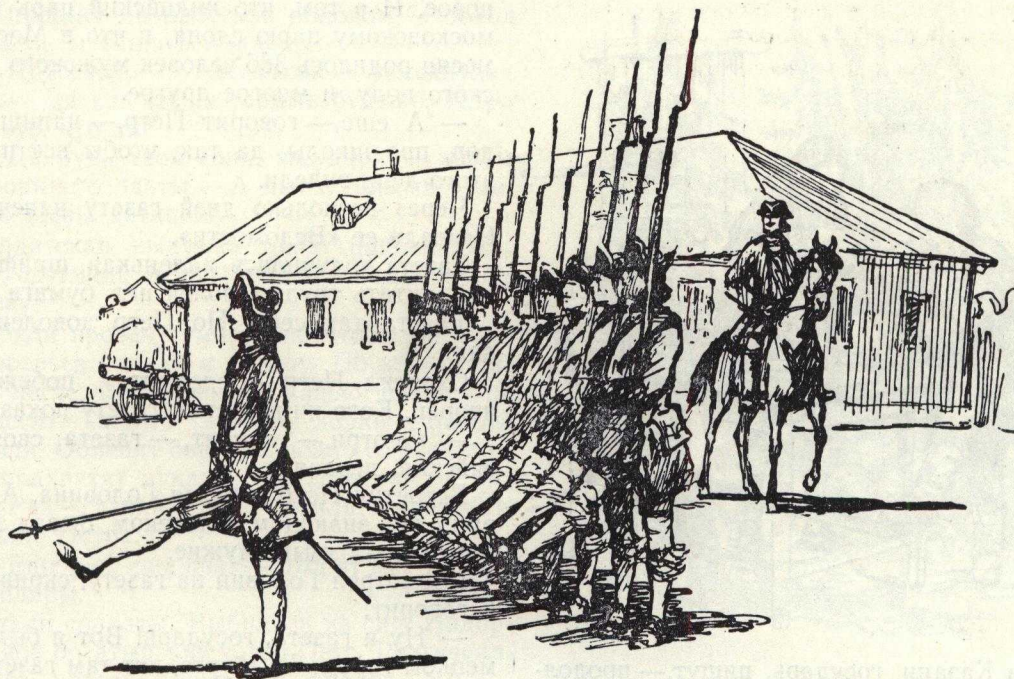
Однажды Петр ехал мимо солдатских казарм. Смотрит, солдаты построены, ходить строем учатся. Рядом с солдатами идет молодой поручик, подает команды.

Петр прислушался: команды какие-то необычные.

— Сено — солома, — кричит поручик, — сено — солома!

«Что такое?» — подумал Петр. Остановил коня, присмотрелся: на ногах у солдат что-то навязано. Разглядел царь: на левой ноге — сено, на правой — солома.

Офицер увидел Петра, закричал: «Смирно!».



Солдаты замерли. Подбежал поручик к царю, отдал рапорт:

— Господин бомбардир-капитан, рота поручика Вяземского хождению обучается.

— Вольно! — подал команду Петр.

Поручик царю понравился. Хотел Петр за «сено — солому» разгневаться, но теперь передумал. Спрашивает Вяземского:

— Что это ты солдатам на ноги всякую дрянь навязал?

— Никак не дрянь, господин бомбардир-капитан, — отвечает поручик.

— Как так не дрянь? — возражает Петр.

Солдат позоришь, устава не знаешь.

А поручик все свое.

— Никак нет, — говорит, — это чтобы солдатам легче учиться было. Темнота, бомбардир-капитан, никак не могут различить, где левая нога, где правая. А вот сено с соломой не путают: деревенские.

Подивился царь выдумке, усмехнулся.

А вскоре Петр принимал парад. Лучше всех шла последняя рота.

— Кто командир? — спросил Петр у генерала.

— Поручик Вяземский, — ответил генерал.

РАДУЙСЯ МАЛОМУ, ТОГДА И БОЛЬШОЕ ПРИДЕТ

— Пора бы нам и свою газету иметь, — не раз говорил Петр Меншикову. — От газеты и купцу, и боярину, и горожанину — всем польза.

И вот Петр как-то исчез из дворца. Не появлялся до самого вечера, и приближенные уже подумали, не случилось ли с царем чего дурного.

А Петр был на Печатном дворе, вместе с печатным мастером Федором Поликарповым отбирал материалы к первому номеру русской газеты.

Поликарпов, высокий, худой, как жердь,

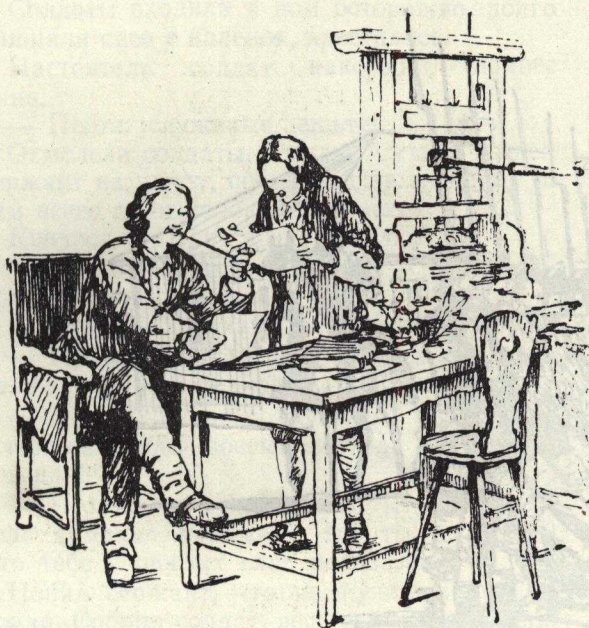
с очками на самом конце носа, стоит перед царем навывтяжку, словно солдат, читает:

— Государь, с Урала из Верхотурска сообщают, что тамошними мастерами отлито немало пушек.

— Пиши, — говорит Петр, — пусть все знают, что потеря под Нарвой есть ничто в сравнении с тем, что желаячи можно сделать.

— А еще, государь, сообщают, — продолжает Поликарпов, — что в Москве отлито из колокольного чугуна четыреста пушек.

— И это пиши, — говорит Петр. — Пусть знают, что Петр снимал колокола не зря.



— Из Казани, государь, пишут, — продолжает Поликарпов, — что нашли там немало нефти и медной руды.

— Пиши, — говорит Петр, — пусть знают, что на Руси богатств — край непочатый, не считаны те богатства, не мерыны.

Сидит Петр, слушает; на том, что печатать, ставит красный крест, ненужное откладывает в сторону.

А Поликарпов докладывает все новое и

новое. И о том, что индийский царь послал московскому царю слона, и что в Москве за месяц родилось 386 человек мужского и женского полу, и многое другое.

— А еще, — говорит Петр, — напиши, Федор, про школы, да так, чтобы все прок от этого дела видели.

Через несколько дней газету напечатали. Назвали ее «Ведомости».

Газета получилась маленькая, шрифт мелкий, читать трудно, полей нет, бумага серая.

Газета так себе. Но Петр доволен: первая!

Схватил Петр «Ведомости», побежал во дворец. Кого ни встретит, газету показывает.

— Смотри, — говорит, — газета, своя, российская, первая!

Встретил Петр и князя Головина. А Головин слыл знающим человеком, бывал за границей, знал языки чужие.

Посмотрел Головин на газету, скривил рот и говорит:

— Ну и газета, государь! Вот я был в немецком городе Гамбурге, вот там газета, так газета.

Радость с лица Петра как рукой сняло. Помрачнел, насупился.

— Эх, ты! — проговорил. — Не тем местом, князь, мыслишь. А еще Головин! Нашел чем удивить — в немецком городе Гамбурге! Сам знаю, лучше, да чужое. Чай, и у них не сразу все хорошо было. Дай срок! Радуйся малому, тогда и большое придет.

ЛОДКИ ИДУТ ПО СУШЕ

Русские подошли к Нотебургу осенью. Задули холодные северные ветры. Разыгралось беспокойное Ладожское озеро. Побежали высокие волны, забили о берег шумным прибоем.

По Ладожскому озеру пригнали русские более полусотни ладей — больших лодок, — стали готовиться к штурму. Штурмовать крепость лучше со стороны реки Невы: тут и берег ближе и волны не такие сильные. Но как провести лодки мимо крепости? Шведы начнут стрелять. Потопят меткие шведские стрелки русские лодки.

Как быть?

Весь день русские разбивали лагерь. Ставили большие солдатские палатки, разводили костры, чистили ружья.

Вечером, когда все легли спать, Петр вышел к озеру.

Тихо. Горят на берегу костры. Над озером поднимается луна. Засмотрелся Петр на луну, задумался.

Вдруг до царя долетели громкие голоса. Петр оглянулся: смотрит, на берегу у костра собрались солдаты. Солдаты о чем-то спорят. Петр прислушался.

— Братцы, а я так думаю, что шведа обхитрить можно, — говорит чей-то голос.

Петр подошел ближе, рассмотрел говорившего. Был он шуплый и мал ростом. Петра даже смех взял: тоже герой!

— Как же ты, куриная твоя душа, — обратился к солдату Петр, — обхитришь шведа?

Солдат узнал царя и замер от страха.

— Ну-ка, рассказывай! — потребовал Петр.

— Да я так думаю, государь, — запинаясь, проговорил солдат, — стало быть, надо ру-

бить просеку да просекой волоком, в обход крепости, и тащить лодки.

— Просекой, волоком! — усмехнулся Петр. — Да как ты их тащить будешь, ведра тебе это, что ли?

— Да будь твоя воля, государь! — хором заговорили солдаты. — А мы их голыми руками до Невы дотянем!

Солдатская выдумка царю понравилась. На следующий день Петр приказал рубить просеку.

Рубили просеку умно, так, чтобы верхушки деревьев падали к центру. По ветвям тащить легче. Впрягались в ладью человек по пятьдесят. Тащить тяжелые лодки — работа трудная. Облепят солдаты лодку со всех сторон, подхватят руками, еле сдвигают.

— Раз — взяли, два — взяли! — раздает голос Петра.

— Еще раз, еще два! — вторят ему ротные командиры.

Устали солдаты. Выбились из сил. Надорвал свой богатырский голос Петр. Разгневался царь, подозвал шуплого солдата.

— Что ж ты, куриная твоя душа, — закричал Петр, — видал, каково лодки тащить!

Молчит солдат, слово сказать боится.

А Петр ругается еще шибче.

Обиделся тогда солдат, говорит:

— Так какое же дело, государь, без труда получается?

Подивился Петр на солдата, промолчал. Потом подошел, похлопал солдата по плечу и сказал:

— Молодец, правду говоришь: выиграем баталию — не забуду. Быть тебе при государственной награде.

Только не дожил солдат до награды. Замахнулся шуплый солдат, подвернулся под нос тяжелой ладьи. Бросились солдаты помо-



гать товарищу, да поздно. Придавила ладья солдата. Прикусил от боли солдат губы, да так и умер без крика и стона.

И вновь подивился Петр. Откуда сила такая берется? С таким солдатом не страшно и против шведа идти. Снял Петр шляпу, поклонился, приказал похоронить солдата с офицерскими почестями.

До позднего вечера русские рубили просеку. А утром в крепости началась тревога. Забегали на стенах караульные. Поднялся на высокую башню комендант. Шведы смотрели на Неву. Там, словно утиные выводки на легкой волне, качались русские лодки. Не сразу поняли шведы, в чем дело. А когда разобрались, было поздно. Русские начали штурм.

НА БЕРЕГУ НЕВЫ

Пустынны берега реки Невы: леса, топи да непролазные чащи. И проехать трудно, и жить негде. А место важное — море.

Через несколько дней после взятия Ниеншанца Петр забрал Меншикова, сел в лодку и поехал к устью Невы. При самом впадении Невы в море — остров, называется Заячий.

Вылез Петр из лодки, стал ходить по острову. Остров длинный, плоский, словно ладошка. Хохолками торчат хилые кусты, под ногами мох, сырость.

— Ну и место, государь, — проговорил Меншиков.

— Что место? Место как место, — ответил Петр. — Знатное место — море.

Пошли дальше. Вдруг Меншиков провалился по колено в болото. Рванул ноги, стал на четвереньки, пополз на сухое место. Поднялся — весь в грязи, посмотрел на ноги — одного ботфорта нет.

— Ай да Алексашка, ай да вид! — рассмеялся Петр.

— Ну и места проклятушие! — с обидой

проговорил Меншиков.— Государь, пошли назад. Нечего сии топи мерить.

— Зачем же назад, иди вперед, Данилыч, чай, хозяйничать сюда пришли, а не гостями,— ответил Петр и зашагал к морю.

Меншиков нехотя поплелся сзади.

— А вот смотри,— обратился Петр к Меншикову,— жизни, говоришь, никакой нет, а это тебе что, не жизнь?..

Петр подошел к кочке, осторожно раздвинул кусты, и Меншиков увидел гнездо. В гнезде сидела птица, она с удивлением смотрела на людей, не улетала.

— Ишь ты,— проговорил Меншиков,— смелая.

Птица вдруг взмахнула крылом, взлетела, стала носиться вокруг куста.

Наконец Петр и Меншиков вышли к морю. Большое, мрачное, оно верблюдскими горбами катило свои волны, бросало о берег, било о гальку.

Петр стоял, расправив плечи, дышал всей грудью. Морской ветер трепал полы кафтана, то поворачивая лицевой, зеленой стороной, то внутренней, красной. Петр смотрел

вдаль. Там, за сотни верст на запад, лежали иные страны, иные берега...

Меншиков сидел на камне, переобувался. — Данилыч! — произнес Петр.

То ли Петр произнес тихо, то ли Меншиков сделал вид, что не слышит, только не ответил.

— Данилыч! — вновь проговорил Петр.

Меншиков насторожился.

— Здесь, у моря, — Петр обвел рукой, — здесь, у моря, — повторил он, — будем строить город.

У Меншикова поднятый ботфорт сам собой выпал из рук.

— Город? — переспросил он. — Тут, на сих болотах, город?!

— Да,— ответил Петр и зашагал по берегу.

А Меншиков все еще держал ботфорт и смотрел удивленным, восторженным взглядом на удаляющуюся фигуру Петра.

А по берегу носилась испуганная птица. Она то вздымалась вверх, то падала вниз и оглашала своим криком нетронутые берега.

ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ

Осень 1703 года выдалась ранняя. Словно из сита, лили холодные, мелкие дожди. Задули ветры, погнали по Финскому заливу метровые волны.

В один из таких дней к Неве подошел иностранный корабль. Корабль был датский, и приплыли на нем датские купцы.

У входа в Неву корабль бросил якорь. Идти дальше капитан не решался. Датчане послали в Петербург за лоцманом.

Вскоре лоцман прибыл. Из-под капюшона брезентового плаща глянуло на капитана молодое, улыбающееся лицо. Раскрытыми ножницами зашевелились тонкие, словно шило, усы.

— О, гут, зер гут! — приветствовал лоцмана датский капитан.

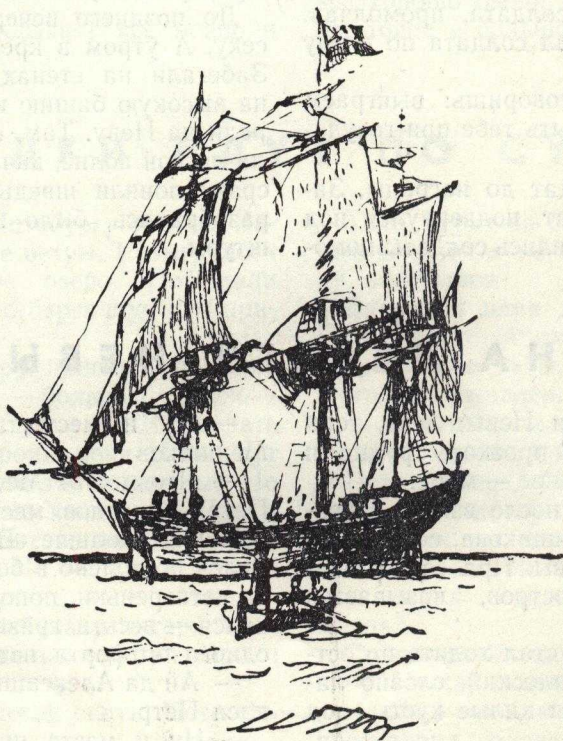
Лоцман прошелся по палубе, пощупал снасти, придирчиво осмотрел паруса и реи.

Всю дорогу лоцман молчал. Ловко перебирая рулевое колесо, он осторожно вводил корабль в Неву.

— Гут, зер гут! — говорил капитан.

Русский датчанину понравился. Прощаясь, капитан подарил лоцману золотой рубль.

Три дня судно разгружалось. Пока русские перетаскивали на берег пузатые бочки и тяжелые ящики, датские моряки ходили по городу. С самого утра отправлялся на берег и датский капитан. Капитан знал, что на улицах Петербурга можно повстречать русского царя. А взглянуть на Петра капитану очень хотелось. Слава о царе Петре к тому времени



уже обошла весь мир. Однако датчанину не везло.

И вот однажды капитан встретил лоцмана. — О мейн фрейнд! — радостно приветствовал датчанин старого знакомого. «А что, если поделиться с ним своей неудачей?» — подумал капитан.

Узнав, в чем дело, лоцман обещал помочь.

Слово свое лоцман сдержал. Через несколько дней датских моряков пригласили в дом петербургского генерал-губернатора Александра Даниловича Меншикова. В просторном губернаторском доме собралось человек сто. Были здесь и знатные особы и совсем неприметные люди — русские купцы и офицеры. Вскоре к гостям вышел и сам хозяин.

Потом дверь распахнулась, и в комнату вошел Петр.

Датский капитан взглянул на царя и ахнул. По комнате, прогибая половицы, шел лоцман.

Заметив датчанина, Петр улыбнулся. Лукаво заблестели большие глаза, приветливо зашевелились усы-ножницы.

Капитан растерялся, стал низко кланяться и что-то быстро-быстро заговорил на родном языке.

— О чем рассказывает господин датский капитан? — обратился Петр к переводчику.

— Ваше величество, — ответил переводчик, — капитан говорит о каком-то рубле. Капитан просит не гневаться и вернуть ему рубль.

Петр рассмеялся.

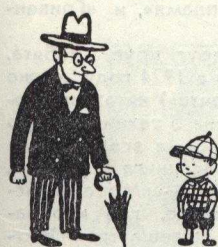
— Купцы и корабельщики, — обратился царь к датским морякам, — вы первые, кто с миром пришел к нам в древние русские земли. Слава вам, датские мореходы! Жалуйте к нам в моря! Купцы датские и немецкие, английские и шведские, жалуйте все, всем места хватит. За то мы и бились за море. На то и положили здесь русские головы.

Потом, наклонившись к переводчику, Петр тихо сказал:

— А капитану передай: рубль я ему не отдам. Рубль, он не краденый. Скажи, царь за здоровье датских моряков рубль тот пропил.

ИНОСТРАННЫЙ ЮМОР

АМЕРИКАНСКИЙ



— Что случилось, малыш? — участливо спросил человек. — Ты заблудился?

— Нет, — последовал мужественный ответ. — Я не заблудился, я здесь. Но я бы очень хотел знать, где бродят мои папа с мамой?

— О мама! Только посмотри на этого человека.

У него на голове нет ни одного волоска.

— Тише, дорогой, он услышит тебя.

— А разве он сам не знает об этом?

Кончился первый день занятий в школе. Этель пришла домой.

— Ну, дорогая, — спросила мама, — чему тебя там научили?

— Немногому, — ответила девочка. — Я должна идти туда снова.

— Как мама узнала, что ты не мылся, Билли?

— Я забыл намочить мыло.

АНГЛИЙСКИЙ

Мейбел получила подарок: котенка.

Котенок уселся около камина.

— Мама, — сказала девочка, поглаживая его. — Какой он горячий! Можно ему сидеть так близко к огню?

Котенок замурлыкал.

— Мама, ты только послушай! Он начинает кипеть!



— Дик, какие ужасные вещи у тебя в кармане! Подумать только, мертвый краб!

— Но, мама, он не был мертвым, когда попал туда!

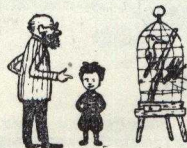
ПОЛЬСКИЙ

— Ты хорошо знаешь птиц?

— Хорошо.

— Скажи мне, пожалуйста, которая из этих двух птиц щегол, а которая дятел.

— Тоже мне вопрос! Тот, что сидит возле щегла, и есть дятел.



Борис Житков

Очерк Лидии ЧУКОВСКОЙ

1

Кто не помнит «Почты» С. Маршака?

Здесь поедет вот что:
Почтальон и почта.

«Слава честным почтальонам!» — так кончается эта поэма. Есть в ней и ленинградский почтальон, и берлинский, и лондонский, и бразильский... А главный герой книги — это тот, за кем по всему земному шару гонятся почтальоны с письмом: Борис Житков. Приносят ему письмо в Ленинграде, а его дома нет.

— Где же этот гражданин?
— Улетел вчера в Берлин.

Житков за границу
По воздуху мчится —
Земля зеленеет внизу.
А вслед за Житковым
В вагоне почтовом
Письмо заказное везут.

Доставили письмо в Берлин — и снова опоздали:

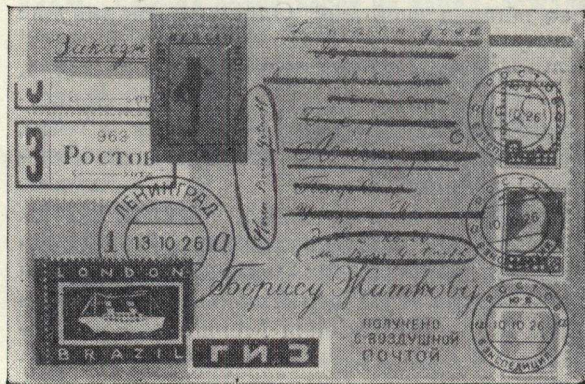
— Вчера в одиннадцать часов
Уехал в Англию Житков.

Доставили в Лондон, но за Житковым не уго-
нишься:

Швейцар глядит из-под очков
На имя и фамилию
И говорит: — Борис Житков
Отправился в Бразилию.

Наконец письмо достигло адресата дома — в Ле-
нинграде.

Мой сосед вскочил с постели:
— Вот так чудо в самом деле!
Погляди, письмо за мной
Облетело шар земной.
Мчалось по морю вдогонку,
Понеслось на Амазонку.
Вслед за мной его везли
Поезда и корабли...



«Заказное для Житкова». Рисунок М. Цехановского
к первому изданию «Почты» С. Маршака.

Вышла впервые эта книга тридцать лет тому назад. Художник М. Цехановский изобразил берлинского почтальона, и лондонского и, всего в белом, бразильского, а на последней странице — Бориса Житкова.

Сухощавый человек, деловитый, с энергичным профилем, сидит в кресле и читает письмо. Сразу видно, что он только что из путешествия: у ног его чемодан, весь обклеенный багажными квитанциями, на стене — географическая карта, на столе — клетка с попугаем, а на спинке кресла — обезьяна: вывес, видно, откуда-нибудь из-за моря...

Читатели с особым вниманием рассматривали эту картинку.

Так вот он какой, Борис Житков!

Школьники уже знали нового писателя по его книгам: они уже прочли и «Шквал», и «Над водой», и «Про слона», и «Сквозь дым и пламя», и «Гривенник».

«Ох, интересно!» — говорили друг другу ребята.

Борис Житков начал печататься в 1924 году, и уже через три года (когда вышла «Почта») читатели знали и любили его. Любили рассказы о технике — про монетный двор, про Волховстрой, — а всего более про путешествия. Морские. Первая книга Б. Житкова называлась «Злое море», вторая — «Морские истории». Недаром на той же картинке, где изображен только что вернувшийся из путешествия Житков, рядом с попугаем, чемоданом и картой нарисована модель яхты под парусами.

С детства Борис Житков жил у моря, в Одессе, и был завзятым моряком: великолепно плавал, греб, управлял яхтой, — а когда вырос и стал студентом, с морем все равно не расстался: сдал экзамен на штурмана дальнего плавания.

В 1905 году Борис Житков принял участие в революционных боях, и тут морское искусство пригодилось ему: на парусниках, на дубках в темные ночи он привозил из-за границы оружие восставшим рабочим Одессы.

Где только не побывал в годы юности Житков, каких только не видал стран, морей, океанов! Окончив Новороссийский университет, он снова начал учиться — поступил на кораблестроительное отделение в Политехнический институт в Ленинграде — и еще студентом совершил кругосветное плавание: обо-
гнул Европу, был в Красном море, прошел вдоль

берега Африки, побывал на Мадагаскаре, в Индии, на Цейлоне, в Японии. Вот отчего в его рассказах так много морских приключений — он испытал их сам, изведав все виды морской службы, от юнги до помощника капитана, — и вот почему в «Почте» он изображен путешественником.

Но тот рассказ, который мы печатаем сегодня, не про путешествия. И не про моря. Он про судостроительный завод.

Инженер-судостроитель, Житков хорошо знал такие заводы.

Рассказ называется «Дяденька». Мирное, будничное название. Про какого-то дяденьку с бородой. В рассказе ни пожара, ни метели, ни урагана, как в других произведениях Житкова. Это рассказ об обыкновенной жизни простого рабочего паренька. Обыкновенная это жизнь, обыкновенная история, но страшная. Пострашнее, пожалуй, чем шквал, метель, ураган.

«Было это давно — лет тридцать назад...» — так начинается рассказ. Написан он тоже уже давно, в 1925 году. Выходит, что речь идет в нем о последнем десятилетии прошлого века. «Подрост я, и пришло время меня на работу посылать», — продолжает рассказчик. Время это пришло очень рано: пареньку всего 14 лет. Семья рабочая, нуждающаяся, пора на заработки. Сосед по квартире устроил мальчонку на завод. И тут начались его мытарства. Никто не объяснил ему, что он должен делать, как работать. Но за каждый промах — пинки. Кругом стук, гром, грохот — гудит железо от ударов молотков. Гул и тьма — работают в неосвещенном трюме. В этой тьме, в этом грохоте забитый, запуганный, потерявший голову мальчик едва не становится убийцей. Он мечтает о мести. Он вынимает рейку из ограды люка, чтобы «дяденька», старший клепальщик, который больше других донимал его, полетел вниз, в трюм. Там глубоко. «Если попадешь, так лететь десять сажень и все на ребра железные». Вынул мальчишка

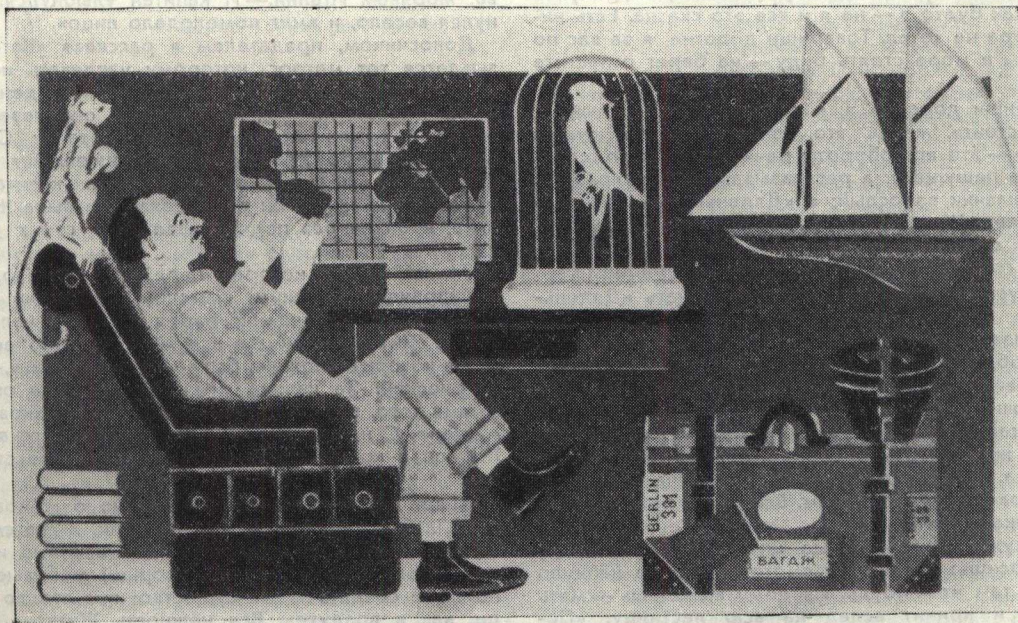
рейку — и сам насмерть испугался того, что он сделал. Поднял тревогу. Остановили завод. Спустили мальчика в трюм на поиски. А клепальщик, оказываясь, благополучно миновал люк. Все окончилось хорошо, старик на руки поднял мальчика и сам же его утешает: «Чего ты, шут с тобой? Да милый ты мой!» Он не упал, не разбился, и он ласков с мальчиком, — может быть, и не станет его больше «по-едом есть»...

Как будто бы ничего не случилось, а от рассказа остается такое тяжкое чувство, словно не совершившееся там убийство — совершено. Это потому, что в «Дяденьке» рассказывается хоть и не о прямом убийстве, а все-таки о гибели, о калечении людей: и «дяденьки», и других рабочих, и вот этого мальчика, который только еще начинает свою трудовую жизнь. Капиталистическое предприятие уродует, губит, калечит тела и души рабочих — вот о чем написан рассказ.

Он обращен к советским подросткам, которые должны знать, каково жилось их сверстникам до революции. Они такого завода не знают — завода-насилы, завода-убийцы...

Мальчик, герой рассказа, еще вчера мечтал о том, как он будет пароходы строить и трубы ставить («главное, думал, трубу — в ней вся сила!»). Назавтра он уже не помнит о своих мечтах, ему только бы не погибнуть в этом аду.

Жестокость капиталистического мира, мира насилия, воплощена Житковым в лязге и грохоте — неотступном, железном, заглушающем самый звук человеческой речи. Слов на заводе не слышно, все объясняются тычками, пинками. Если и выдастся мгновение тишины, слышна одна только ругань. Мальчик больше не думает, что строить пароходы интересно. Да он хоть и участвует в этой работе, в сущности совсем не знает ее. На заводе он не человек, не мальчик, не рабочий; пинками и грохотом он превращен в существо озлобленное, жалкое, бес-



Этот рисунок художника М. Цехановского тоже взят из первого издания «Почты»: Житков только что вернулся из далекого путешествия.

словесное. Грей заклепки и подавай их вовремя, а перегреешь или опоздаешь подать — получишь по шее. «Трах, бах — и долой». Вот и вся наука... Люди на заводе гложут физически и душевно. Тягостна судьба подростка, попавшего в этот бессердечный и бессмысленный мир.

Написан «Дяденька» от первого лица. Читая, кажется, что обо всем случившемся говорит мальчик и что он не пишет, а именно говорит. Многие рассказы Житкова написаны от первого лица, их будто не читаешь, а слушаешь. В рассказах «Про слона» или «Урок географии» это первое лицо — бывалый моряк; в рассказе «Компас» — молодой матрос, участник стачки моряков в 1905 году; в рассказах «Джарылгач» и «Дяденька» — это парнишка из рабочей семьи. Житков с детства был великолепный рассказчик. Начнет, бывало, рассказывать товарищам, ребятишкам из Одесского порта, похождения какого-нибудь лихого моряка — слушатели так и видят тех, о ком он говорит: и хозяина-грека и грузчика-турка, — так и слышат их живую речь. Однажды в начале своей литературной работы, засидевшись допоздна в редакции детского журнала, Житков рассказал сотрудникам, как он был в Индии и познакомился там с важным и добрым слоном. Слушатели настаивали, чтобы он свой рассказ записал. И когда в журнале «Новый Робинзон» появился рассказ «Про слона», читатели журнала услышали подлинный, живой голос рассказчика — тот самый, что прозвучал несколько месяцев назад в стенах редакции.

«Заснуть не мог, прямо ноги от нетерпения чесались. Ведь это, знаете, когда сушей едешь, совсем не то: видишь, как все постепенно меняется. А тут две недели океан — вода и вода, — и сразу новая страна. Как занавес в театре подняли.

Наутро затопали на палубе, загудели. Я бросился к иллюминатору, к окну, — готово: город белый на берегу стоит; порт, суда, около борта шлюпки; в них черные в белых чалмах — зубы блестят, кричат что-то; солнце светит со всей силы, жмет, кажется, светом давит. Тут я как с ума сошел, задохнулся прямо: как будто я — не я и все это сказка. Есть ничего с утра не хотел. Товарищи дорогие, я за вас по две вахты в море стоять буду — на берег отпустите скорей!»

«Товарищи дорогие..., «...готово: город белый на берегу стоит», «ведь это, знаете, когда сушей едешь...» — это все обороты речи говорящего, словно бы не пишущего, а рассказывающего человека... Тут рассказчик взрослый; в «Дяденьке» — мальчишка, паренек. Житков как бы превратился, перевоплотился в четырнадцатилетнего мальчика, заговорил его голосом, его словами, его интонациями.

Вот спускают мальчика в трюм — искать «Дяденьку».

«Привязали меня, дали свечку. Я в этот пролет, как в гроб, спускаюсь. Думаю: если он живой, буду его целовать, дяденьку моего, лишь бы хоть чуточку живой только».

Никто так не подумает и не скажет: «Лишь бы хоть чуточку живой только», — кроме мальчика, кроме подростка. Перевоплощался в подростка Житков с необыкновенным искусством. Вспомним хотя бы рассказ «Джарылгач»:

«Это хуже всего — новые штаны. Не ходишь, а штаны носишь: все время смотри, чтоб не капнуло или еще там что-нибудь. Из дому выходишь — мать выбежит и кричит вслед на всю лестницу: «Порвешь — лучше домой не возвращайся!» Стыдно прямо. Да не надо мне этих штанов ваших!»

Так и слышишь голос рассерженного паренька, ко-

торому в кои-то веки сшили обнову и теперь покоя не дают «из-за штанов этих»... Взглянуть на окружающий мир глазами подростка и передать живую мальчишескую речь — в этом искусстве Житков был непревзойденный мастер.

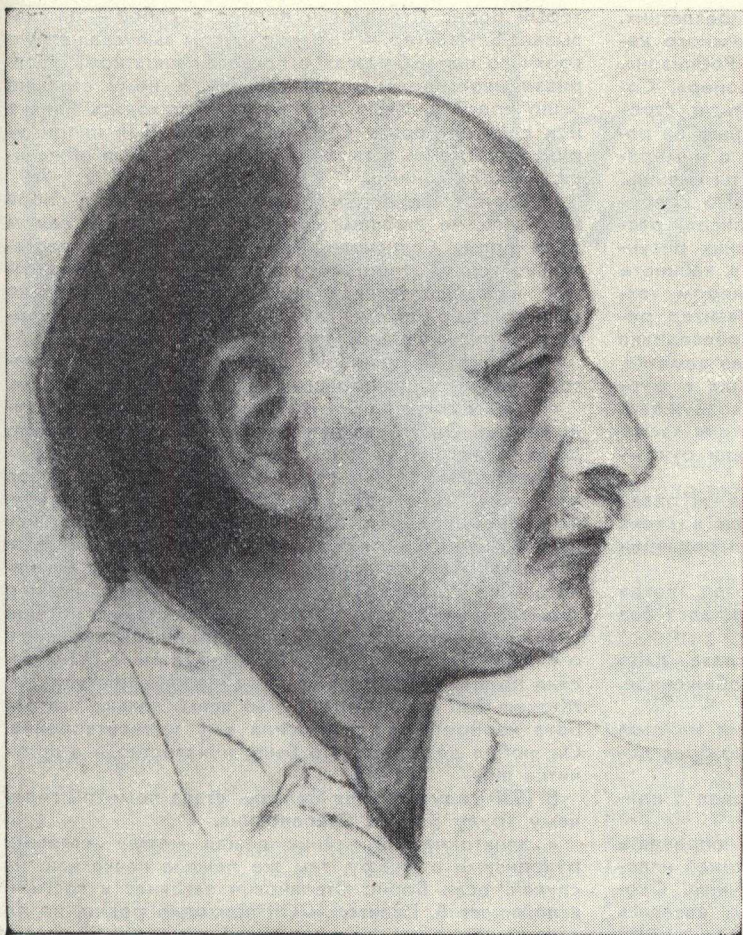
2

Недавно после длительного перерыва снова вышел в свет однотомник произведений Бориса Житкова, толстый, в 380 страниц. Здесь собраны его рассказы, статьи, повести, написанные для старших ребят. Книга эта до краев полна событиями. Читаешь о людях, которые чуть не погибли под снегом, о подводной лодке, увязшей в глинистом дне, об отважных матросах-забастовщиках, которые с риском для жизни ночью пробрались на пароход, сорвавший забастовку, и вывинтили компас (одним из этих смельчаков был сам автор!), читаешь о схватке с орангутангом и о стрельбе по моржам. Множество приключений — на суше, на море, в воздухе — случается в рассказах Житкова. И не пустые это происшествия. Они полны глубокого смысла и оставляют след в душе читателя. Они многому учат. Житков не зря ставит своих героев в трудные положения. Пожарами и бурями он устраивает героям проверку. Он хочет определить для себя и сделать для читателя ясным, кто чего стоит. Что такое настоящая храбрость, чем отличается она от никчемного молодечества? И как ее в себе воспитать? И как и отчего человек становится трусом? Во многих своих рассказах Житков устанавливает связь между храбростью человека и степенью его любви к тому делу, за которое человек отвечает. И другую непреложную связь: между трусостью и стяжательством, жадностью. У капитана из рассказа «Механик Салерно» хватает душевных сил, чтобы спасти пароход и людей потому, что живо в нем чувство трудовой чести, жива любовь к родине. Не гибели он боится, но бесчестия: «...наши дети, — капитан кивнул наверх, — пусть играют, вы их спасете, и будет навеки вам слава, морякам Италии. — И капитан улыбнулся. Улыбнулся весело, и вмиг помолодело лицо».

Доносчиком, предателем в рассказе «Вата» оказывается тот матрос, которому наплевать на честь и на товарищей, который любит наживу, деньги. Да и виновником пожара на пароходе оказывается человек, позарившийся на деньги: механик Салерно принял на пароход легковоспламеняющийся груз и, трусив, не сказал об этом вовремя капитану. Он человек наживы, и он трус. Связь эта была Житкову ясна, и он не раз подчеркивал ее в своих рассказах.

Другая мысль, которая, перейдя в чувство, живет и наполняет высоким смыслом рассказы Житкова, — это его восхищение перед трудом и человеком труда. Житкова занимал всякий труд, а более всего тот, в который вложена была «честь и жизнь», — труд творческий. За каждым созданием труда он умел видеть того, кто создает, — человека, вдохновенного мастера. С нежностью и восхищением рассказывает Житков о красавице-яхте «Мираж» и о ее строителях.

«Я не мог отвести глаз, — сказано о «Мираже», — он был без парусов, но он стоя шел. Я все смотрел на эти текущие обводы корпуса — плавные и стремительные. Только жаркой, упорной любовью можно было создать такое существо: оно стояло на воде, как в воздухе». Вся нежность Житкова отдана людям труда, тем, кто работает с «жаркой, упорной любовью». Это Антон из рассказа «Плотник»; это смельчак-испанец Мария из рассказа «Погибель»;



Борис Степанович Житков.

это огромный, добрый и смелый матрос Ковалев, спасающий товарищей в рассказе «Шквал», и все те мастера, чьим вдохновенным умением он восхищается в своих рассказах и очерках. Бывший тореадор испанец Хосе Мария одет в лохмотья, но вскакивает и становится в позиции так ловко, что лохмотьев не видно: «Казалось, все блестит на нем». Для Житкова все на человеке блестит, когда человек работает мастерски.

Из этой любви ко всякому мастерству и умению вырос и самый стиль рассказов Житкова. Он ни о чем не говорит приблизительно, понаслышке. Обо всем — как соучастник, сотрудник, знаток, профессионал, деятель. Житков много жил и, что еще существеннее, много трудился вместе с народом. Плавал на судах, работал на судостроительных верфях. Знал не только труд инженера и штурмана, но и рабочего-металлиста, и плотника, и рыбака, и простого матроса. Русскую речь, щедрую, сильную, разнообразную, Житков изучил до тонкости. Недаром подростком в Одесском порту он с такою чуткостью вслушивался в речь моряков, мастеровых, с таким наслаждением учился плотницкому и морскому искусству. Сила его стиля в великолепном воспроизведении всякой снововки, удалства, быстроты, хватки. «Сложил замок, как влил. Приступнул обухом, и срослись два дерева в одно». Плывет

человек или строгают рубанком, работает молотком или посылает пулю из ружья — Житков находит для его быстрого, точного действия быстрое, точное слово. Все многочисленные профессии, которыми владел Житков, требовали от него меткости, и он будто внес эту меткость в свою литературную работу. Точнее не изобразишь злое лицо жандарма и целой страницей описания, чем сделал это Житков одной меткой строкой: «Идешь мимо, а он дежурным на переезде стоит и провожает тебя глазами, как из дустволки целит».

3

Борис Степанович Житков родился близ Новгорода 30 августа 1882 года. В этом году исполняется 75 лет со дня его рождения.

Он пришел в литературу уже немолодым человеком и успел поработать в ней всего 15 лет. Но за эти 15 лет сделано им необыкновенно много. Из всех разнообразных профессий, которыми он на своем веку овладел — а был он не только инженером и моряком, но и химиком, и зоологом, и педагогом, — ни одной не отдавался он с такой страстностью, как литературе. «Любил жаркой рукой взять воск и лепить из него живую красоту», — написал Житков про великого итальянского скульптора Бенвенуто Челлини. То же можно сказать про него самого: любил, разогрев воображение, чувство, мысль, память, лепить, лепить человеческие характеры: трусливых и жадных, героических, находчивых и смелых людей — ра-

бочих, купцов, капитанов, матросов, фабрикантов, мастеровых, рыбаков. Любил всякий литературный труд: и авторский, и редакторский, — любил открывать для себя новые и новые области искусства и уходил в эту новизну с головой. «Затем вот то новое, куда меня втянули, — писал он своему племяннику в 1924 году. — Это детский театр. Какая прелесть!» Житкову захотелось сделать то, чего он еще никогда не делал: самому написать пьесу. И он написал ее. «Представь себе, что тебе бы довелось повернуть ручкой трамвая, — отказался бы ты? — спрашивал он у своего племянника. — Может быть, никогда больше не доведется управлять даже таким аппаратом, как вагон с прицепом. А тут, подумай, такое чудо: ты сидишь, выдумываешь и пишешь, — а потом оно заживет, и не то что художник нарисует иллюстрации, а настоящие люди задвигаются и заговорят настоящим голосом... Ну сам скажи, разве не приятно повернуть этой рукояткой?»

Всякой «рукояткой» ему было интересно «повернуть» впервые: он был изобретателем, первооткрывателем, выдумщиком. По-новому рассказывал детям о технике: без нудных описаний, без длинных иностранных слов, найдя новую форму, непринужденную, веселую, ясную. Изобретал новые виды книг для маленьких: книги-игрушки, книги-игры; первым в мире написал энциклопедию для читателей,

которые еще не умеют читать: для четырехлетних. Участвовал в работе детского театра, детского календаря, в редакциях журналов «Новый Робинзон», «Еж», «Чижи», «Юный натуралист» и «Пионер». Сотрудники хорошо запомнили его щедрость, и строгость, и то увлечение, тот аппетит, с которым он работал. Слово каждому, кто оказывался с ним рядом, он говорил: «Подумай, такое чудо: ты сидишь, выдумываешь... а потом оно заживет». «По требованию журнала он мог в одну ночь написать рассказ или скомпоновать обложку из детских рисунков; мог и на много часов запереться в кабинете с охотником, ученым, художником, инженером, техником и, — как рассказывает писатель Б. Ивантер, редактор «Пионера», — вложить в своего собеседника то, что считал важным и нужным». Каждая заметка, иллюстрация или фотография, помещенная в журнале, должна была, по мысли Житкова, возбуждать энергию, волю к действию, чтобы у читателя «загорелись бы ноги — побежать, поглядеть, или руки — сделать, попробовать».

Писательница Анна Гарф, сотрудница журнала «Юный натуралист», подробно рассказала в своих воспоминаниях о том, как Житков пришел редакции на помощь.

Взял он на себя заботу о журнале тогда, когда редактор заболел и молодой коллектив остался без руководителя.

«Меховой треух надвинут на самые глаза, лицо сердитое, но не злое, скорее по-детски обиженное. Таким я увидела его в первый раз.

Он снял шапку, поздоровался, положил на стол подшивку нашего журнала за год, которую брал домой, чтобы ознакомиться, и сказал:

— Плохо, товарищи. Скучно, серо. Журнал о природе, а как все это тускло выглядит!

Естественное желание оправдаться и оправдать товарищей заставило заведующего редакцией изложить так называемые объективные причины. Особенно убедительным доводом нам всем казалась наша нищенская смета.

Борис Степанович слушал, чуть прищурив свои острые светлые глаза, и нельзя было угадать, что означает его тонкая улыбка: сочувствие, насмешку, одобрение?

— Хорош был бы портной, — наконец произнес он, — который пришел бы к вашему пальто разные пуговицы. Одинаковых, видите ли, у него не нашлось! Но пальто, и плохо сшитое, все же защищает от холода. А что делать читателю с плохим журналом? Селедку, и ту в него не завернешь: формат неподходящий. «Средств мало!» — неожиданно передразнил он, и очень похоже, того, кто на это ссылался. — Самое могучее из всех средств — это любовь. Кто любит, тот делает.

И он показал нам, как это делается».

Журнал — при той же смете! — преобразился. Всех, кто работал с ним, Житков заражал своей требовательностью. Каждый знал, что вялое, серое, скучное не пройдет, каждый старался стать выше себя самого.

С таким же задором, с такой же требовательностью работал Борис Степанович и в «Пионере».

«В редакции появился электрический чайник, ко-

торый Борис Степанович принес с собой, — рассказывает Б. Ивантер. — Чайник с шипом выпускал струю горячего пара, брызгал и плевался кипятком, ошпаривал неосторожных посетителей. К нему страшно было подойти. Иные побавивались подходить близко и к самому Борису Степановичу. Он был непримирим, никогда не остывал, и трудно было не обжечься, работая с ним».

«Можно было подумать, что видишь перед собой желчного, не любящего людей человека. На самом деле Борис Степанович очень тепло, даже трогательно тепло, относился к людям, с большей теплотой, чем заслуживали некоторые из них. Только теплоту эту он прятал глубоко внутри, а наружу сердито выпускал едкий, щиплющий глаза дым».

«У Бориса Степановича было... тонкое чувство того, что важно, нужно и интересно детям-читателям».

«Почему горы не бывают высотой в пятьдесят километров? Он угадывал такого рода вопросы ребят, даже если они их и не задавали».

«Борис Житков был вечным Колумбом и не любил открывать еще раз уже открытую им Америку, искал новых дорог, новых путей. Он показал, как нужно писать книги о технике, и, так как они были написаны, больше не хотел писать, хотя мог бы написать не только о пароходе и телеграфе, но и о трамвае, автомобиле, не только о пожарных, но еще о десятке профессий. Он не успел написать книгу о винтовке. Я убежден, что эта книга была бы написана по-новому, иначе, чем о пароходе, о тракторе. Житков был изобретателем во всем; только эта работа изобретателя приносила ему удовлетворение. Он любил делать то, что было неизвестно, — а получается ли?»

В 1938 году тяжелая болезнь стала помехой горячему труду Бориса Степановича.

«...электрический чайник лежал между старыми рукописями в шкафу, там же лежала пачка чаю на случай, если Борис Степанович заглянет в гости, — вспоминает Б. Ивантер. — Он приходил редко, но по телефону нет-нет да и позвонит, выругает за какой-нибудь номер или похвалит».

«В последний раз я его видел незадолго до смерти. Он сидел в постели похуевший, измученный болезнью, но не поддававшийся ей. В нем осталось уже мало сил. Он был мужественный человек и видел угрозу смерти, но говорил о том, как он собирается закончить историю корабля, словно человек, у которого есть и время и силы для этого. Ему уже нельзя было много говорить, но говорил он, как всегда, все время, пока я у него сидел; он показывал мне свою последнюю книжку, расспрашивал о редакции, о делах Детиздата и говорил быстро, словно торопясь рассказать обо всем: о недописанных книгах, о политических событиях, обо всем, что его заботило и волновало. Это была последняя моя встреча с Борисом Степановичем Житковым».

...Но разве можно сказать, что встреча эта в самом деле была последней? Да и бывает ли когда-нибудь с настоящим писателем последняя встреча? Борис Житков жив в своих книгах. Он в них виден и слышен. Весь. Азартный, горячий, смелый. Каждое новое поколение заново встречается с ним.



ДЯДЕНЬКА

Рисунки О. Коровина.

Подымет цепочкой груз и тащит. Я все на них смотрел и о рельсы спотыкался.

А дальше, у самой реки, что-то нагромождено высоко-высоко, все железным переплетом, как будто дом какой решетчатый. Это самый эллинг-то и есть, где пароходы строятся.

И оттуда такая трескотня, как будто все время пальба идет из пулеметов, и только слышно: дзяв! дзяв! — бахает чем-то по железу.

Пошли туда, а там леса поставлены, вот как дом в пять этажей строят. Леса эти около судна нагромождены. А судно из ржавых листов, толщенных, и листы эти к железным ребрам рабочие крепят. А по рельсам на досках все мастеровые, на полках, как мухи. Мне сразу показалось, что все с пистолетами, только пистолеты на толстых веревках. Теперь-то я знаю, что это воздушный молоток, и не на веревке, а это трубка к нему идет, и по ней сжатый воздух гонят от насоса. А в стволе воздухом работает самый молоток: мечется взад и вперед и, если к нему ствол приставить, так бьет шибко, дробно. А тогда мне показалось, что пистолеты.

По лесам сходни, переходы, напихано с яруса на ярус, а мы все выше, выше лезем; кругом так гудит, в уши бьет, прямо как тебе по голове кто барабанит. Перелезли на самое судно, на железную палубу. И все железо, железо кругом. И такой грохот, что я думал: не может быть, чтобы это целый день, это, должно, только сейчас так расшумелись. Нельзя этого стука выдерживать. Потом оказалось, что все время так.

Подводят меня к железному столику, вроде тумбочки. Вижу, наверху уголь горит, а между ножками гармоникой мехи, и ручка сбоку. Мне этот, что привел меня, показывает на ручку — дергай, значит. Я хотел спросить, что потом делать, и голоса своего не слышу; кричу — и как немой. Такой грохот, аж стонет железо. Смотрю, тут двое

Дело было давно — лет тридцать назад. Подрос я, и пришло время меня на работу посылать.

Если в пекарню меня отдать, так мамка боялась, что там простуда: жара да сквозняки. В кузницу — четырнадцать лет — еще молодой, говорят. А в типографию и слышать не хотела: все наборщики, говорит, пьяницы. И каждый день одни эти разговоры: куда да куда. Хоть обедать не садись. Как будто я в чем виноват!

Вот раз пришел жилец наш, Онисим Андреевич, и говорит, что довольно канитель эту тянуть. С самой весны, говорит, языком бьете, а толку никакого. А я его вот раз — два — и на место поставлю. «Хочешь, — говорит, — пароходы строить?»

Еще бы, кто не хочет! Пароходы-то!

Мамка опять: в воду там свалится, утонет, и еще что-то будет. А Онисим Андреевич был немного выпивши и заругался. Говорит, чтоб завтра утром к заводу приходил, у него там знакомый есть.

Всю ночь думал: вот пароходы строим, мачты сейчас ставить, трубу. Главное, думал, трубу — в ней вся сила. Вот чудака был!

Утром, чуть свет, — к заводу.

Там ходили в контору, туда-сюда; теперь-то я все знаю, а тогда страшно показалось. Двор большой, прямо поле целое, по нему все рельсы, рельсы, и ходят вагончики, а на них краны подъемные. Много их бегают.

мальчишек стоят и чего-то греют. Закопченные такие, черные. Толкают меня, чтоб я за ручку дергал.

Я начал дергать, мехи заработали, уголь горит; они там что-то работают, а кругом такой гром — похоже, что не строят, а ломают со всей силы и что вот-вот все завалится, и я сам не знаю, на чем стою и куда в случае чего бежать. А сам качаю, качаю. Вдруг один мальчишка меня щипцами в плечо. Я еще сильнее ручку дергать, а он опять щипцами — это надо было, чтоб я полегче, а то уголь вон с горна улетает, — этот столик горном называется. Потом мальчишки вытащили щипцами из огня заклепки — аж белые — и потащили куда-то. А я все стараюсь.

Какой-то дядя проходил — как толкнет меня в затылок: что-то показывает. Ничего не понять — грохот: звенит, бахает кругом. Я сильнее качать. Он сорвал с меня картуз. Я за картузом — и пустил ручку. Он тогда показывает, чтоб потихоньку. Тут мальчишки снова толкают, тычут чем зря, а я ничего не понимаю. Даже слезы. Ну, это я больше от дыма — очень едкий. Прямо хоть брось. Так я до обеда мучился.

Вдруг все сразу замолкло, и тихо-тихо стало. Я даже испугался, не будет ли чего сейчас. А мальчишки мне кричат: «Через тебя пять заклепок перепалили!»

Я тут первый раз услышал, что у них голос есть. Все пошли вниз, и я за народом.

Мальчишки ко мне, кричат грубым голосом: «Ты заклепки не перепаливай, дяденьке скажем, клепальщику, он тебя научит. У нас раз — и готово». И показывают мне дяденьку. Здоровый, страшный такой мне показался, в бороде.

В столовой все клепальщики отдельно сидят и через стол орут, как с того берега. От этой работы они все на ухо туги, и гам такой стоит, как будто драка идет. А это просто обедают. И раньше, чем соседу сказать, в плечо его — раз! Смотрю, мой сидит, все лицо в гари и ржа в бороде от железа. Глядит волком. Вынул бутылку, хотел пробку выбить, потом сразу трах горлышком об угол, отбил, выпил половину и соседу ткнул: пей!

А я поневоле около мальчишек держусь, один не найду дорогу на работу. Они говорят: «Идем, до гудка надо, чтоб горно развести». Дорогой они кричат: «У нас, знаешь, не в слесарной. У нас разговору нет. Один, — говорят, — тоже коники строил. Работали в самом дне, в клетке. Так клепальщик раз его по башке ручником — и готово. Так его

там и бросили. А чего, — говорят, — на дурака смотреть!»

И все мальчишки курят и через каждое слово ругаются.

Когда я с работы домой пришел, мамка мне говорит, а я ничего не слышу, как будто от соседей: еле-еле.

Потом, как стал я дальше в завод ходить, сам стал заклепки греть. Это гвоздь такой, только толстый и тупой, как обрубленный, и шляпка толстая. Нагрею заклепку, несу в щипцах дяденьке, кину — она по железной палубе покатится, он ее подхватит щипцами — и в дырку, что сквозь листы. Шляпку припрет колом железным, здоровым, а с другой стороны клепальщик сейчас ее, пока горячая, воздушным молотком, этим пистолетом, — трах, трах, тах, тах! — и сплющит; головку с той стороны сделает — и готово. Давай другую, и пошел. Так листы скрепляют. Я и курить и ругаться выучился и тоже стал все срыву: трах, бах — и долой. Дома мамка раз плакала. Я пришел с работы, она мне скорей умыться, а вода здорово горяча была; я — хлоп! — таз перевернул. Сел за стол, как был: даешь борща!.. Дала. Ничего. И не гудела. А если что говорить станет, сейчас шапку — и за ворота, а то завалюсь спать. Раз стал форточку отпирать — нейдет, разбухла, что ли? Я взял полено — раз! — и выставил. Онисим Андреевич заходил, посмотрел. «Клепальщик, — говорит, — натуральный». А я и рад.

Нет, верно, у нас разговор такой: ткнул, пихнул, ударил.

Не помню, с чего это пошло. Стал на меня вдруг дяденька гудеть. Все ему не так. На работе — там разговору никакого не может быть, разве только пинком или тычком, а на дворе он орет: «Я тебе, такой-растаккой, морду набью — и за ворота! Ковыряешься, — говорит, — как жук в навозе. Пойду мастеру скажу, тебя враз с работы долой!» Каждый день у нас так. А дальше все хуже; уж и видеть меня не может. Прямо зверем. Жена у него умерла. Я ее, что ли, убил? Чего ты меня-то ешь? И что я больше стараюсь, то хуже. То ему рано заклепку даешь — гонит, кулаком машет, то опоздал. Заел просто!

А работали мы тогда в самом низу, в самом что ни на есть дне. Туда добраться, как под землю: все с палубы на палубу, все железо, все острое, угольники ребром торчат. Лезешь — темно, как в ящике. Вот с верх-



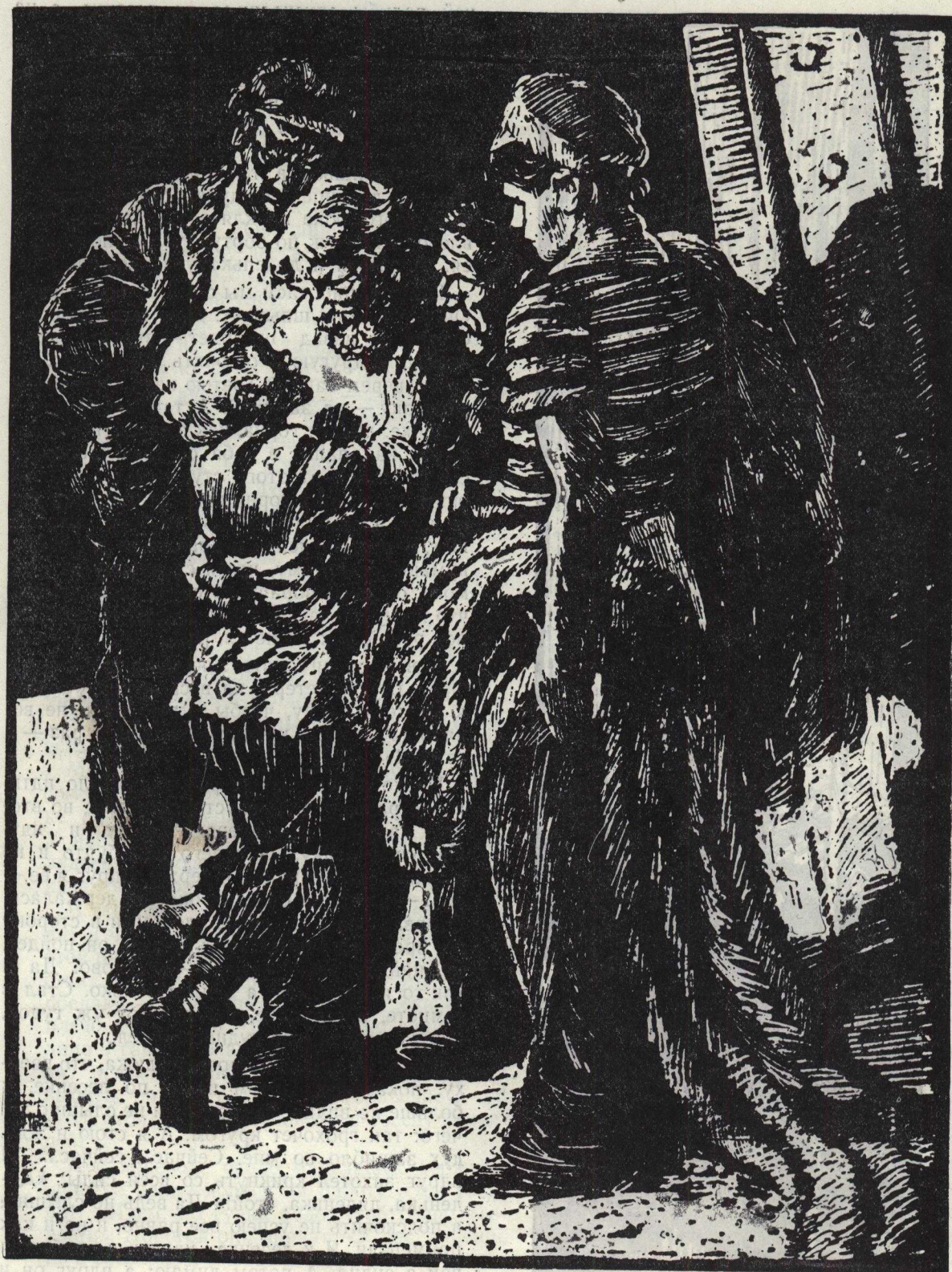
ней палубы спускаешься по лесенке, а на второй палубе уже темно. И тут же сейчас люк один был такой, что если попадешь, так лететь десять саженей — и прямо на ребра железные. Он только одними рейками и был огорожен. Так, на деревянных стоечках, и рейки-то на живинку гвоздиками пришиты. Как спустишься в темноту, идешь и руку впереди держишь; нащупал рейку около самого этого люка проклятого, и сейчас бери влево, и иди уж по борту: тут не споткнешься. Так меня и дяденька учил ходить.

Так вот, работаем мы с ним в самом низу. Он опять меня шпыняет. Даю ему заклепку, он мне ее назад швыряет — значит, пережжено. Я другую — он опять. Да что это, думаю, зверем каким? Третью несу. Он поймал заклепку — да за мной. А там внизу, что в коробке: дым от горна, как в трубе, все судно гудит, как палат в тебя со всех сторон. Я сам беситься от этого стука стал. Я ему опять грею, он к горну пришел, надавал мне по шее и сам стал греть. Ух, обозлился я! Нет, верно, заклепки я правильно грел. Вот, думаю, это потому, что я сдачи ему дать не могу, он и разворачивается. И стал думать, что я ему сделаю, когда вырасту. Было б что под рукой, так, кажется, раз...

А в обед он опять мне кулаком грозит. Орет, глухая тетеря, на весь завод: «Сейчас к мастеру пойду, чтобы тут тобой и не воляло! У меня, — кричит, — знаешь: раз — и готово!»

После обеда мне вперед надо было идти, горно разводить. Я спустился в люк, во вторую палубу, руку впереди держу и иду. Нашупал рейку... и ничего как будто и не думаю. Взял ее рукой и держу. Вдруг я ее — раз! — и готово. Ей-богу, она еле держалась! Оторвал рейку я, одним словом, и в сторону ее, прочь со стоек. Пусть теперь он пойдет, не найдет рейки — раз! — и готово. Да я так-то и не думал, а злился только. Стал в темноте, в сторонке, и жду. Вот уж гудок, пошла работа, все судно загудело.

Вижу, дяденька в просвете люка, что вверху, показался. Потом полез по лесенке, и больше не видно. Темно там и не слышно ничего: так грохочет кругом. А я стою и жду, дух зашибло во мне. Сейчас... сейчас... И вдруг захотел крикнуть со всей силы: «Дяденька, дяденька, стой!» Да ведь не слышно; а подскочить не успею все равно, и ноги как примерзли. Я к лесенке наверх и побежал вон с судна. А потом думаю: а вдруг он и прошел, как-нибудь да и прошел? И побежал опять туда, где мы работали. Иду и го-



...но с... в... и...
...как... и...
...и...

Он нагнулся, гладит меня и совсем добрый-добрый...

ворю: «Дай бог, чтоб был, ну, дай, дай бог, чтоб был!» И боюсь идти, а ноги сами так и тащат.

Наши там, а дяденьки нет. И вот клепальщик показывает рукой: борода — значит, дяденька-то — где? Идет, что ли? Я головой помотал, и прочь, и бежать! Думаю, лежит он теперь там, в трюме, разбитый, — не может быть, чтобы живой. А сам думаю: «Ведь могла же рейка сама упасть, еле ведь держалась. И без меня могла упасть». Бегу, а сам вою. И бегу, где б народу меньше. И кому сказать? Полдвора перебежал и вижу: по рельсам крап ползет и листы несет, а на крапе машинист. Я кричу ему. Не помню уж, что кричал. А он не слушает, смотрит, куда листы положить и чтоб не переехать кого. А я рядом бегу, падаю и опять бегу, и кричу, и вою.

Он остановился, опустил листы и потом ко мне. «Чего там?» — говорит. Я вою — он ничего понять не может. Слез с крана. Я кричу: «Упал дяденька, — говорю, — с палубы в трюм, там лежит!»

Тогда он в машине что-то сделал. «Сейчас», — говорит. Тут уж я заревел и хотел бежать. А он кричит: «Стой! Как же найти без тебя?» Побежал я за ним. Он там к мастеру; все смотрят. Мастер кого-то позвал, чтобы воздух застопорить.

Сразу все остановилось — тихо. Вот страшно стало! «Коли стонет или кричит, услышим». Свечку принесли. Я смотрю: как я рейку оторвал, так она там и лежит. «Тут», — говорю.

Все собрались кругом. Меня спрашивают: «Ты видел?»

А я весь трясусь, и зубы трясутся.

Тут веревку принесли и говорят: «Спу-

ститься надо, сначала посмотреть, есть ли там он».

А я кричу, как лаю точно: «Я, я, меня спустите!»

Привязали меня, дали свечку. Я в этот пролет, как в гроб, спускаюсь. Думаю: если он живой, буду его целовать, дяденьку моего, лишь бы хоть чуточку живой только. И смотрю все вниз, а что на веревке я, это я и забыл, и что высоко. Свечка мало светит. Я до самого дна дошел, и нет его, нет там дяденьки. Я стал кричать: «Дяденька, а дяденька!» Гудит в железе мой голос. Я на веревке походил туда, сюда — нет, и не видно, чтоб был.

Глянул вверх — чуть светлый круг видно, люк это проклятый. Стали меня подымать. А там уж свет электрический протянули, и полна палуба народу, и все на меня смотрят, а я ничего сказать не могу, как закаменел.

И вдруг смотрю: стоит среди людей мой дяденька, живой, совсем живой, и все на меня смотрят. Я как брошусь к нему и тут заорал со всего голоса. Кричу: «Дяденька, миленький, родненький!» — и заревел.

А он нагнулся, гладит меня и совсем добрый-добрый, гладит меня и орет хрипло: «Чего ты, шут с тобой! Да милый ты мой!» — и даже на руки поднял.

А это он тогда минул люк стороной и пошел за инструментом, там и завозился — оттого его тогда внизу с нашими и не было. Стали работать, хватились, а меня тоже нет. Потом, когда воздух стал, наши подождали, подождали, да и вылезли поглядеть, что случилось, чего это весь завод стоит. А тут я. Ну, вот и все.

1925.

Р. ЗАСЛАВСКИЙ

ЕСЛИ Б ВСЕ ЧАСЫ НА СВЕТЕ...

Если б все часы на свете
вдруг остановились,
что творилось бы на свете,
что творилось!

Ведь никто б не знал заранее,
что когда,
приходили б с опозданием
поезда.

Все б вставали затемно,
опоздать боясь...

Все бы перепуталось
на земле у нас.

И, не зная времени,
первый раз в срок,
может быть, явился бы
Петя на урок!

ПОЧЕМУ и ОТЧЕГО

Тайна замерзания воды



Дорогая редакция!
Меня интересует вопрос: почему в морозные дни вытаскивать ведро из колодца легче, чем в теплые?
С приветом

*Зина Остроушко,
село Введенка,
Кустанайская область, Казахская ССР.*

Ты уже, наверно, знаешь, Зина, что все тела при нагревании расширяются, а при охлаждении сжимаются и что при расширении плотность всех тел уменьшается, — значит, уменьшается и их удельный вес, а при сжатии плотность и удельный вес увеличиваются.

Иначе обстоит дело с водой. Вода обладает удивительным свойством: она сжимается при охлаждении только до четырех градусов Цельсия. При повышении температуры от четырех градусов до нуля вода снова начинает расширяться, и довольно сильно. Значит, ее плотность и удельный вес уменьшаются.

Теперь ты уже можешь и сама догадаться, почему ведро с водой при температуре, близкой к нулю, легче, чем ведро с водой при температуре, скажем, четыре или пять градусов, и почему доставать воду из колодца легче в морозные дни, чем в теплые.

Вообще способность воды расширяться при охлаждении объясняет многие интересные явления в природе. Ты, наверно, знаешь, что бутылка с водой лопаётся на морозе: это вода, замерзая, расширяется и разрывает бутылку. И не только бутылку, она может разорвать и толстостенную чугунную бомбу, наполненную водой и плотно закупоренную.

Вода, замерзшая в расщелинах скал, разрушает горы. Вода, просочившись под асфальт шоссе, дорог и замерзнув, взламывает его. В сильные морозы деревья в лесу «трещат» — это замерзшая в древесных сосудах вода разрывает древесину.

Благодаря расширению воды при замерзании лёд

плавает на воде — ведь он легче ее, — а дождь превращается в снег. Ледяной покров защищает от промерзания реки, а снежный не дает промерзнуть земле и защищает от холода растения.

Теперь представь себе, что ты попала в страну, где вода не расширяется при замерзании. Ты увидела бы такую картину.

...Зима. Подул резкий, холодный ветер, небо заволокло тучами, и пошел град. Не обычный в наших краях град. Тяжелые градины, как крупная дробь, лупят по земле. Смотри, чтобы тебе не поранило лицо!

А это еще что? От реки с шумом катится водяной вал. Наводнение зимой. Вода, замерзая, опустилась на дно, постепенно на дне реки образовалась ледяная плотина, она перегородила реку, и вода затопила все вокруг. Пройдет еще немного времени, вода промерзнет вся до дна, и рыба погибнет в ней.

И деревьев не видно на берегу: на глубоко промерзающей зимой почве плохо живется растениям. Даже звери предпочитают уйти в теплые края: в насквозь промерзшей норе не укроешься от зимней стужи. Да и летом здесь долго бывает холодно: лёд, лежащий на дне рек, тает медленно, поэтому солнце долго не может нагреть воду. Глубоко промерзшая за зиму почва тоже оттаивает медленно, на полях долго застаивается вода, и посевы погибают. Уныло выглядел бы край, где вода не расширяется при замерзании!

Ю. Авалиани



Вредная привычка

Мне хочется узнать, почему нельзя читать, когда ешь.

*Таня Шитова,
г. Новосибирск.*

Тебе, вероятно, уже известно, Таня, что пища, которую мы едим, переваривается в желудке только при помощи желудочного сока, выделяющегося во время еды. Научкой установлено, что если во время еды внимание человека отвлекается чем-нибудь посторонним, то выделение желудочного сока уменьшается, и от этого пища хуже переваривается.

Это самое главное, почему не следует читать во время еды.

Кроме того, отвлекаясь чтением, ты хуже пережевываешь пищу, она меньше пропитывается слюной, и это тоже замедляет пищеварение.

Наконец, не следует читать во время еды еще и потому, что ты можешь испачкать книгу. Надо обязательно приучать себя бережно обращаться с книгой. Хорошую книгу надо побережечь и для других людей.

Г. Грин



Ловушка света

Я хочу знать, почему у кошки зрачки глаз делаются то большими и круглыми, то узенькими, как щелки.

Галя Копылова,
поселок Сосьва, Свердловская область.

Зрачки меняются не только у кошек. Возьми зеркало, встань у окна или у горячей лампы и посмотри, какие зрачки у тебя. На ярком свете они совсем маленькие. Перейди теперь с зеркалом в темный угол, и ты увидишь, что зрачки твои сильно расширятся.

В зрачке помещается хрусталик, похожий на двояковыпуклое увеличительное стекло. Свет в хрусталике преломляется и, пройдя через глазное яблоко, тонкой точкой падает на сетчатку на задней стенке глаза. А сетчатка — это кончики нервов, которые

передают ощущение от света в зрительный центр головного мозга.

Если вокруг тебя темно, то глазу, чтобы лучше видеть, нужно собрать больше света, и зрачок расширяется, а когда света много, зрачок сужается.

В радужной оболочке глаза есть особые мускулы, которые могут то расширить зрачок, то сузить. У кошки эти мускулы сужают зрачок в виде узкой щели.

К. Кочетков



Физика в горячем утюге

Объясните, пожалуйста, почему горячий утюг гладит, а холодный не гладит.

Людмила Рыбакова,
село Казначеевка,
Белгородская область, Украинская ССР.

Ты, Люда, наверно, умеешь обращаться с утюгом и знаешь, что обычно гладят не сухую, а чуть сырую материю; если белье или платье пересохнут, их обрызгивают водой или гладят через мокрую тряпку.

Сухую материю невозможно выгладить даже очень горячим утюгом, потому что она обладает некоторой упругостью. Ты это можешь сама проверить: сожми в руке кусок шерстяной материи; когда ты разожмешь пальцы, материя тотчас разгладится. А сырая материя не разгладится. Поэтому, когда тебе нужно уничтожить складку на помятом

платье, ты смачиваешь платье водой, лучше всего горячей.

Когда мы гладим сырую материю горячим утюгом, мы нагреваем воду в ней до кипения, и материя от этого становится податливой, эластичной. В то же время горячий утюг заставляет воду быстро испаряться, сушит материю, и она снова становится упругой и сохраняет ту форму, которую мы ей придаем.

Вот почему мы гладим горячим утюгом.

Ю. Авалиани



Самое жаркое место на земле

Ответьте мне, где находится самая жаркая точка в СССР и на земном шаре.

Леонид Исаханов,
г. Коканд, Узбекская ССР.

Прежде чем ответить на этот вопрос, надо условиться, что мы будем понимать под самой жаркой точкой.

Ученые-метеорологи самой жаркой точкой называют такую, где средняя температура самого теплого летнего месяца наивысшая. Такая точка в СССР находится в районе города Термеза, на юге Средней Азии. Средняя температура июля там плюс 31,5°C, а иногда температура поднимается до плюс 50°C.

Самая жаркая точка на земном шаре находится в северной части Африки, примерно на 25° северной широты и на долготе нулевого меридиана. Там среднеиюльская температура достигает плюс 40°C.

Самая высокая на земле температура — плюс 63°C в тени — наблюдалась летом 1936 года в Африке, в районе бывшего Итальянского Сомали.

Ю. Калинин,
научный сотрудник НИЗМИРА

НОВАЯ ИГРА

Юрий БАТЮШКОВ

Футбол, баскетбол, волейбол — вы все знаете эти игры. А что вам известно о хендболе?

Наверно, некоторые из вас читали, что хендбол входил в III Международные дружеские спортивные игры во время фестиваля в Москве.

Хендбол, или ручной мяч, долгое время был забыт в нашей стране. И только сейчас возрождается. Поэтому для многих он совершенно новая игра.

Но для тех, кто попробовал играть в хендбол, он сразу становится любимым спортом.

Это подтвердят и ребята из Лианозовской школы, которые сняты на этих фотографиях...

Они вам скажут, что хендбол — игра такая же острая и драматичная, как футбол, только менее грубая: мяч бросают руками, а не бьют по нему ногами. Этим хендбол похож и на баскетбол, только мяч забрасывают не в корзину, а в ворота. И поле больше, больше простора для игроков.

В Лианозове увлекаются хендболом все: и мальчики, и девочки, и даже директор школы Василий Потапович Кириченко. Когда-то он был хорошим хендболистом, а теперь он решил научить играть ребят своей школы. Узнав, что хендболом увлекаются в Воронеже, он написал туда письмо. Скоро в Лианозово приехали два опытных воронежских тренера, собрали ребят, рассказали о хендболе и провели показательную игру. Она очень понравилась ребятам, и в Лианозовской школе оборудовали площадки, построили ворота. Теперь там 25 команд хендболистов. По десять игроков в каждой — семь основных и три запасных игрока.

А в команде 4-го «Б», где капитан Витя Павлык, запасных игроков тоже семь. Ребята считают: для того, чтобы команда была крепкой и тренированной, надо иметь два состава одинаковой силы. Так легче тренироваться и не страшно, если кто-нибудь из членов команды заболит или выбудет из игры.

Очень важно правильно расставить игроков и распределить между ними роли в команде.

Витя к каждому внимательно присматривал-



Женя Присяжнюк бросает мяч в прыжке. Такому изящному и высокому прыжку «оленьем» могут позавидовать и фигуристы.

ся, оценивая его способности. Воря Жучков лучше всех ведет мяч и метко бросает в ворота с большого расстояния; значит, он должен быть нападающим. Толя Баранов хорошо блокирует противника, мимо него трудно пройти с мячом — непременно отнимет. Следовательно, он будет полезнее в защите, чем в нападении. Слава Логунов быстро бежит, и он всегда умеет передать мяч. Это очень ценное качество для левого нападающего. Стремительно и ловко атакует Игорь Щербатых; он в любой момент заменит капитана в центре нападения.

Тренируются ребята не только после уроков. Во время перемен они успевают побороть мяч, отрабатывая технику бросков и разыгрывая тактические комбинации.

На весенних состязаниях команда 4-го «Б» завоевала звание сильнейшей в школе. Сейчас ребята готовятся к осенней школьной спартакиаде. На снимках вы видите, как они тренируются.



Капитан команды 4-го класса «Б» Витя Павлык ведет мяч.



Очень увлекаются хендболом девочки. Валя Павлова, Таня Ким и Валя Волкова из 4-го «А» не дают девятикласснице Тане Осиповой прорваться с мячом к воротам.

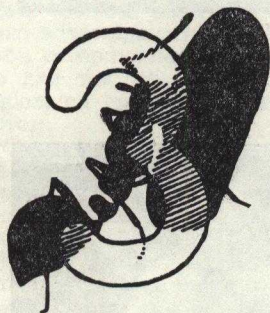
МУРАВЬИНЫЙ НАРОД

П. МАРИКОВСКИЙ

Рисунки автора.



НАБЕГ



вери охотно пользуются тропинками и дорогами, проложенными человеком: по ним легче идти, чем по густой траве, кустам и бурелому. И это хорошо понимают не только медведи, волки, лисы и барсуки, но и некоторые насекомые.

Однажды я встретил на лесной дороге большую колонну коричневых муравьев. Это было в ущелье Арашан, в Терском Алатау. Дорога была узкая, но торная, гладкая и без камней. Вокруг нее теснились большие ели, солнце бросало последние лучи на землю из-за вершины горы. В лесу стояла тишина. Муравьев было много, примерно не меньше одной, а может быть, и двух тысяч. Шли они торопливо и настолько тесно друг к другу, что казалось, будто по земле ползла громадная плоская змея шести — семи метров длиной. Гуще всего муравьи сбились в голове колонны. Здесь, видимо, шли разведчики, старые, бывалые, знающие дорогу и местность. (Муравьи-рабочие некоторых видов живут около восьми лет. В течение долгой жизни они приобретают много полезных навыков.) К концу колонна постепенно редела, и в хвосте ее плелись редкие одинокие муравьи.

От головы колонны отбегали муравьи, уходили в сторону на двадцать — тридцать сантиметров и возвращались обратно. Это были своеобразные щупальца колонны. Другие муравьи бегали по краям колон-

ны — от ее головы до хвоста и обратно. Они следили за тем, чтобы муравьи не расплозились в стороны. Это был организованный и, видимо, вполне привычный для муравьев поход. Вели себя муравьи воинственно. Они на смерть закусали большую, толстую ухвертку, случайно оказавшуюся на их пути.

Такое массовое шествие я встретил впервые и поэтому очень им заинтересовался. Что это: переселение муравейника или колонна так называемых странствующих муравьев?

Очень интересно узнать причину переселения муравьев, направление их пути и многое другое, что поможет открыть секрет сложной инстинктивной жизни этих насекомых. Только одно обстоятельство смущало: из книг мне было известно, что странствующие муравьи живут в тропических странах. При каждом переселении они перетаскивают с собою и все свое добро: яички, личинок, куколок и самку — основательницу колонии. В колонне, которую я встретил, ничего этого не было, шли одни коричневые муравьи, шли налегке, поблескивая лакированным одеянием.

Пока я раздумывал над всем виденным, в голове колонны произошло замешательство. Шествие остановилось, муравьи сбились в беспорядочную кучу, нестройно сдвинулись вправо и поползли вверх по нависшей над дорогой обочине. Тут они долго крутились, обследуя щелки и трещинки в земле.

Наступали сумерки. Налетел ветерок, и высокие ели качнули ветвями. Высоко в воздухе, задевая низкие облака, сбившись в стайку, пролетели стрижи, потом вернулись обратно и стали носиться из стороны в сторону с резким многоголосым визгом.

Толкотня муравьев и топтание на одном месте казались бестолковыми и скучными. Но пока я следил за стрижами, из кучки муравьев сперва вытя-

нулось что-то вроде отростка, потом выстроилась колонна, и опять вдоль дороги поползла длинная, извивающаяся лента. Вскоре колонна оторвалась от места остановки — там осталась лишь небольшая кучка муравьев.

За десять минут колонна прошла не менее чем двадцать метров и, не доходя до ручья, неожиданно свернула с дороги в сторону. Этого я больше всего опасался: попробуйте-ка в сумерках проследить муравьев среди густой травы и кустарников.

Но в дебрях зарослей колонна муравьев стала еще плотнее, а движение ее сильно замедлилось: по дороге ведь куда легче и быстрее двигаться!

Путешествие по зарослям было недолгим. У небольшого холмика муравьи снова сбились в кучу, лихорадочно все сразу замахали усиками, странно задрывали ногами и дружно, как по команде, не теснясь и не толкая друг друга, потоком ринулись в маленькое черное отверстие на вершине холмика. Вскоре все муравьи, все, сколько их было, исчезли в таинственном подземелье, и только кое-кто из оставших растерянно бегал на холмике.

Прошло несколько минут...

Внезапно из отверстия стали спешно выскакивать коричневые муравьи; каждый из них держал в челюстях большую белую куколку. Все они мчались по зарослям обратно, к торной дороге. Потом стали выскакивать, тоже с куколками, совсем другие муравьи — серые, чуть поменьше прищельцев. В величайшей тревоге они разбегались в зарослях трав, спасая самое драгоценное — куколок.

Все это продолжалось недолго — не больше пяти минут. Вскоре по дороге снова протянулась стройная процессия грабителей. Каждый нес по одной куколке. Грабители направились к обочине дороги, туда, где они останавливались, и там стали торопливо засовывать куколок в щели. Кое-кто бросал свою ношу, не заботясь о ней. Те, кто освобождался, тотчас же спешил обратно. Кое-кто из грабителей успел перенести по две куколочки и даже пытался нагрузиться в третий раз. Для этого, оказывается, и служила промежуточная остановка, и не будь ее, каждый грабитель не смог бы унести больше одной куколки.

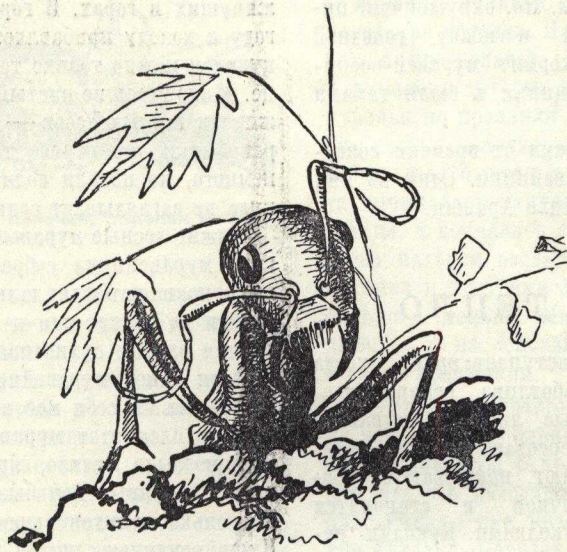
Из незаметных щелей вокруг временной базы коричневых муравьев выползли серые муравьи, которые ничем не отличались от хозяев разграбленного муравейника. Они заботливо подбирали брошенных куколок, принимали их из челюстей грабителей и утаскивали в подземные ходы.

Серые муравьи были не противниками, а сообщниками коричневых, хотя принадлежали к другому виду.

Вскоре муравейник опустел. Часть куколок была унесена грабителями, другая была спрятана хозяевами в лесу.

Нетронутыми остались только крупные куколочки, из которых должны были вывестись самцы и самки. Эти куколочки не нужны грабителям: самцы и самки, вылетев из муравейника, навсегда покидают его.

Когда уже нечего было грабить, у входа в муравейник разыгралась битва. Серые муравьи отчаянно сражались с неприятелем. Если кому-нибудь из коричневых муравьев и удавалось схватить неприютанную куколку, то на него нападало сразу несколько серых защитников. Коричневые муравьи были крупнее, сильнее и, видимо, умелее в своем грабительском деле, и все же вскоре от ограбленного муравейника протянулась колонна грабителей, но уже без куколок.



Коричневый муравей-грабитель.

На промежуточной остановке муравьи долго крутились и толкались, размахивая усиками и шевеля ногами.

Наступила ночь.

Рано утром я поспешил на место ночного происшествия. Черный холмик земли в лесу был пуст, отверстие в нем наглухо заделано. Ничто не напоминало о вчерашнем происшествии, только кое-где валялись неубранные трупы серых муравьев-защитников. Некоторые из них все еще конвульсивно шевелили ногами. Все, кто убежал в заросли, давно возвратились с драгоценной ношей в муравейник.

Пусто было и на месте остановки коричневых муравьев. Все награбленное было перенесено в муравейник, только немногие серые муравьи-сообщники бродили по пустым несложным галереям.

Эта временная стоянка и серые муравьи-сообщники, пожалуй, были самым замечательным из всего виденного. Значит, грабительский поход был зара-

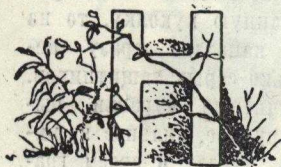
нее подготовлен. Вначале было разведано гнездо серых муравьев, затем подготовлена временная стоянка с наспех сделанными ходами. Туда были перенесены серые муравьи-сообщники. И только после этого грабители отправились в поход.

Зачем же коричневым муравьям понадобились чужие куколки?

Среди множества разнообразнейших инстинктов у муравьев развит «рабовладельческий» инстинкт. Воруя куколок, они воспитывают из них муравьев, которые уже навсегда остаются в чужом гнезде, где они родились. Коричневые муравьи были «рабовладельцами»; они так далеко зашли в разбое, что даже разучились самостоятельно есть. Они умеют грабить, их челюсти легко прокалывают голову противника, схватывают куколок. Но, окруженный пищей, коричневый муравей погибает голодной смертью, если его не накормит муравей-воспитанник. Серые муравьи-сообщники и были такими воспитанниками.

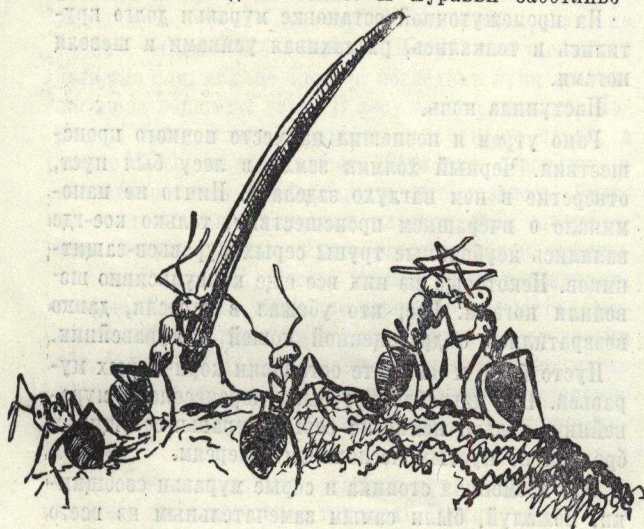
Вот почему разбойники время от времени совершают набеги на чужие муравейники. Один из них мне удалось наблюдать в ущелье Арашан.

БОРЬБА ЗА ТЕПЛО



Частупадает время, когда заботливо вскармливаемые личинки муравьев перестают расти, замирают, покрываются оболочкой и становятся куколками. Куколки не-

подвижны, они не едят и не пьют. В теле куколки происходят сложные процессы превращения во взрослого муравья. В этот ответственный момент куколкам необходимо тепло. И муравьи заботливо



Муравьи принялись за наведение порядка.

греют куколок, но не прямо на солнце: солнечный свет для них губителен, — а где-нибудь в укромном, но теплом месте.

Очень хорошо в солнечную погоду под плоскими камнями, под корой старых пней, неплохо прогревать куколок и в самых поверхностных слоях своего жилища, под тоненьким слоем палочек или кусочков земли, смотря по тому, из чего построен муравейник.

У муравьев — жителей пустыни — меньше забот. Летом солнце так нещадно нагревает землю, что куколок прячут поглубже. И только весной или осенью муравьям пустыни приходится заботиться о согревании куколок.

Гораздо больше хлопот с куколками у муравьев, живущих в горах. В горах ночи холодные; в непогоду к холоду прибавляется еще и сырость. Согреть куколок можно только тогда, когда появляется солнце. А оно здесь не частый гость. Поэтому муравьи — жители горных лесов — борются за тепло. Свои муравейники они строят так, чтобы на них хотя бы немного, но падали солнечные лучи. В тех местах, куда не заглядывает солнце, нет и муравейников.

Рыжие лесные муравьи — хорошие строители. Вокруг муравейника собраны все хвоинки: строители отправляются в дальний поход за ними. Если вблизи не растут ели и нет хвоинок, тогда используются разные сухие палочки.

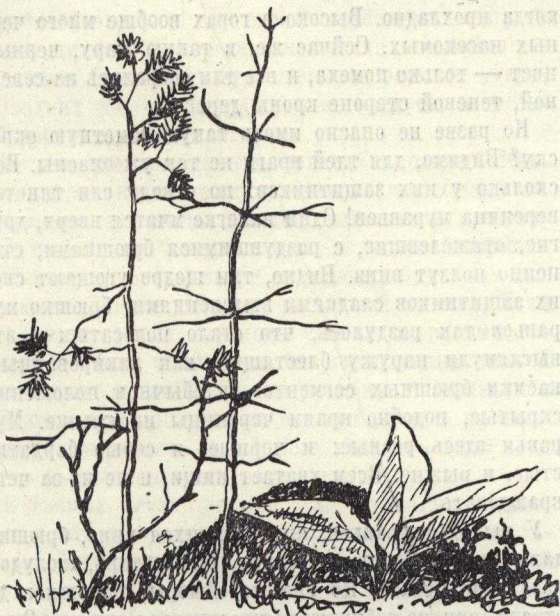
Один такой муравейник, сложенный из палочек, и обратил на себя мое внимание.

Находился этот муравейник на большой поляне. Вокруг было светло, ярко светило солнце, росли высокие травы. Все было густо усыпано цветами. Несколько лопухов выросло рядом с муравейником. Их широкие листья заслонили солнечный свет, и это доставило немало хлопот муравьям. Не могли с этим мириться энергичные и деятельные жители большого дома. Тем более, что после дождливого июля наконец наступили теплые августовские дни, и муравьям во что бы то ни стало нужно было прогревать куколок.

Как же муравьи поступили с лопухами?

Конечно, и на этот случай нашлись всякие уловки, унаследованные от далеких предков.

Перекусить толстые черенки лопухов муравьи не умели. Да и какой в этом был резон? Большой, тяжелый лист не оттащишь в сторону даже силами всех обитателей муравейника. Вот почему против лопухов, как против неприятеля, была применена муравьиная кислота. Едкая, с сильным запахом, она выбрызгивалась особыми специалистами с толстым брюшком. В случае опасности они выпускали вверх струйки этой жидкости, будто из пожарной кишки. Вот почему от листа исходил запах кислоты. Те места на листе, куда попадала кислота, становились коричневыми, сухими. Только возле муравейника и были такие листья с ржавыми отметками. Рост листьев от этого, конечно, замедлялся. Впрочем, му-



Муравейник, сложенный из палочек, привлек мое внимание.

Муравьи поливали кислотой не только листья, доставалось от них и черенкам — они были бугристыми, покрытыми ржавыми пятнами.

Но кислота только сдерживала буйный рост зеленых лопухов. На этом борьба не кончалась. Другие меры были еще удивительнее.

У самой поверхности муравейника на лесной поляне прилегал два больших листа лопуха. Их края и основания были засыпаны множеством палочек. Несколько других листов были уже погребены в толще муравьиного холмика. Не подумав о том, что муравьи могли приспособить такие большие листья, я освободил их из плена. Листья вздрогнули, выпрямились и поднялись над мелкими палочками и соринками. Под ними оказалось множество белых куколок.

В муравейнике поднялась тревога. Куколок — нежных, белых куколок, столь чувствительных к лучам солнца — в величайшей панике прятали во все щели муравейника.

Эта история меня озадачила. Во-первых, враги муравейника, отнимавшие от него тепло, стали как бы его друзьями: оказалось, что под тонкой листовой пластинкой очень удобно прогревать куколок. Во-вторых, какая же сила могла прижать к муравейнику широкие листья на толстом и упругом черенке и крепко закрепить их? Как муравьи сумели пригнуть огромный лист, прислонив его к поверхности своего жилища?

Предположим, все муравьи могли взобраться на лист и пригнуть его своей тяжестью. А укрепить его было уже не сложно. А может быть, муравьи чатаaskали на лист много палочек, и лист согнулся

под их тяжестью? Потом, укрепив лист, они сняли палочки, чтобы было удобнее прогревать куколок. Наконец, лист мог случайно наклониться во время дождя или ветра или еще от чего-нибудь.

И пошли вереницей, одна за другой, разные догадки. Но ни одна из них не была хороша. Задача была трудная.

Впрочем, не все еще потеряно. Муравьи обязательно постараются устранить беспорядок в своем жилище и поставят листья лопуха на старое место. Не могут они держать в тени своих куколок.

Каждое утро и вечер, четыре дня подряд, я навещал муравейник. И за долгие часы наблюдений было разгадано много маленьких секретов муравьиной жизни.

Конечно, муравьи с первого же дня принялись за наведение порядка. Но делали они это совсем не так, как я предполагал. Все оказалось гораздо проще, и никакого хитрого изобретательства или выдумки муравьи не проявили здесь. Они стали подтаскивать под листья палочки и соринки. В теплые часы дня работа шла быстро, в холодные — медленнее. Работа начиналась ранним утром, как только всходило солнце, и кончалась поздно вечером. С каждым днем горка палочек росла, и между поверхностью муравейника и листьями лопуха просвет становился все меньше и меньше. Много палочек было уложено на черешок и на основание листа. Это укрепило лист в одном положении.

Вечером четвертого дня оба листа уже оказались на поверхности сильно подросшего муравейника, они были прикрыты с краев палочками. Под листьями, как удалось разглядеть через дырочки в листовых пластинках, уже красовались кругленькие беленькие куколки. Порядок был наведен, и куколки вновь обрели теплое помещение.

Казалось бы, на этом можно было бы и прекратить наблюдения. Но беда была в том, что несложная работа, выполненная на моих глазах, не давала ответа на один вопрос: как муравьи пригибали листья к муравейнику в первый раз? Почему-то они обошлись без этого сейчас и запросто подвели стены под уже готовую крышу.

— Как это могло случиться? — задавал я вопрос моим знакомым, рассказывая историю муравейника с лопухами.

И никто не мог мне толково ответить.

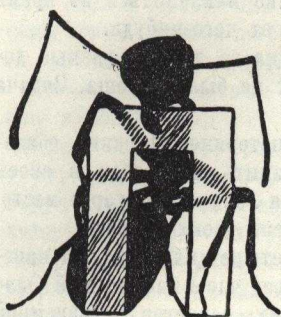
Отгадка пришла неожиданно, через некоторое время. Все объяснилось очень просто.

Листья лопуха, прикрепленные к муравейнику, продолжали расти и давно бы поднялись выше, если бы не маленькие палочки, прижимающие их к муравейнику. Листья были как бы в плену. Вот почему, освобожденные мною, они выпрямились и закачались над муравейником.

Не для того ли, чтобы ослабить рост листьев, муравьи поливали их ядовитой кислотой?!

Как вы, ребята, думаете?

СЛАДКИЙ ДОЖДИК



осле дождливого лета в середине августа в горах Тянь-Шаня установилась теплая и солнечная погода. Хотя к вечеру собираются грозовые тучи, всю ночь барабанит о палатку дождь. Утром холодно, а днем солнце греет жарко, и все, что запыдало в своем развитии — и растения и животные, — торопится наверстать упущенное.

Сегодня особенно жарко. Притихли синички, умолкли крикливые чечевицы, и только насекомые выются и радуются долгожданному теплу. Иногда от кучевого облака, плывущего по глубокому синему небу, на ущелье падает тень и, медленно взползая на крутые склоны, уходит в сторону.

Жарко... После трудного пути сброшены на землю рюкзаки, сняты рубахи. Внезапно на горячее тело падают редкие, но такие прохладные капли дождя.

— Слепой дождь! — решаем мы и, запрокинув головы, смотрим вверх.

Над ущельем светит яркое солнце, и только далеко в стороне плывет белое облако. И тут мы замечаем, что ветви елки, возвышающейся над нами, какие-то необычные, с черными пятнами. А вот и совсем почерневшие. Через несколько минут мы уже карабкаемся на ель.

Темные пятна оказываются скоплением черных, как уголь, тлей. Среди кишачей массы насекомых выделяются большие тли, настоящие великаны, длиною около сантиметра. Над их спиной красуются прозрачные, с черными жилочками крылья. Это тли-расселительницы. Они разлетаются с пораженного дерева и заселяют другие деревья.

Расселительниц сравнительно немного. Гораздо больше тлей меньшего размера, с объемистым брюшком. Вонзив свой длинный хоботок в нежную кору ветвей, они усиленно высасывают сок растений. Они же и рожают маленьких детенышей. Новорожденная тля — такая же, как и мать, только, конечно, очень маленькая и с более продолговатым брюшком. Собравшись кучками, голова к голове, маленькие тли дружно сосут дерево. Между ними ползают еще какие-то тли, среднего размера, с ярко-белым пятном на кончике брюшка. Эти белохвостые тли какие-то особенные, их происхождение непонятно.

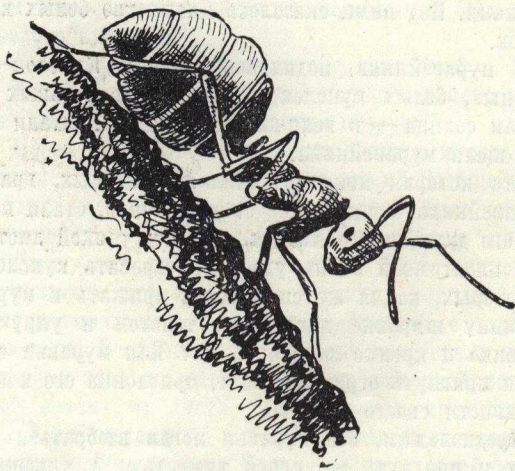
На светлой коре ели черные тли резко выделяются. Видимо, черная окраска — своеобразное приспособление тлей к прохладному лету в горах: ведь в черной одежде легче согреться на солнышке, даже

когда прохладно. Высоко в горах вообще много черных насекомых. Сейчас же, в такую жару, черный цвет — только помеха, и все тли собрались на северной, теневой стороне кроны дерева.

Но разве не опасно иметь такую заметную окраску? Видимо, для тлей враги не так уж опасны. Вон сколько у них защитников: по стволу ели тянется вереница муравьев! Одни налегке мчатся вверх, другие, отяжелевшие, с раздувшимися брюшками, степенно ползут вниз. Видно, тли щедро угощают своих защитников сладкими выделениями: брюшко муравьев так раздулось, что стало полосатым — это выглянули наружу блестящие, как лакированные, каемки брюшных сегментов, в обычном положении скрытые, подобно краям черепицы на крыше. Муравьи здесь разные: и черные, и серые бархатистые, и рыжие. Всем хватает пищи, и не из-за чего враждовать.

У рыжих муравьев, спускающихся вниз, брюшко даже просвечивает на солнце, как янтарь, желудок раздут до отказа. Но они не обжоры. Наевшись до отвала, они не собираются предаваться отдыху. Значительную часть добычи они отгрызнут обратно. В муравейнике их дожидается немало голодных ртов. Поспешно опорожнив свой объемистый зоб, муравей-добытчик тотчас же помчится обратно, за новой порцией сладких выделений тлей.

В черном клубке копошащихся тлей всюду шныряют муравьи. Одни из них подбирают оброненные тлями круглые и прозрачные шарики сладких выделений, другие, постукивая усиками тлей, просят подачку. Муравьи не умеют узнавать, у какой из тлей в данный момент много сладкого сока, и просят всех подряд, без разбора. Вот почему в ответ на постукивания усиками некоторые тли сердито крутят брюшками и подергивают ими из стороны в сторону. В этот момент сторонись, муравей, не то



Отяжелевший муравей с раздувшимся брюшком степенно ползет вниз.

получишь оплеуху! От своих сотоварок, попусту слоняющихся по колонии и мешающих спокойно сосать соки дерева, тли отделяются резкими ударами задних ног: не лезь, куда не следует, и выбирай дорогу посвободней!

Не все тли дождаются прихода муравьев. Многие, высоко подняв вверх брюшко, застывают на мгновение: из конца брюшка выделяется прозрачный шарик, он быстро растет, и вдруг бисеринка стремительно отскакивает в сторону, будто ею выстрелили. В этом действии не плохой умысел. Если бы тли не умели стрелять своими шариками, то вскоре колония тлей была бы перепачкана липкой жидкостью и тли могли бы погибнуть, завязнув в ней ногами. Не поэтому ли все тли уселись на нижнюю сторону веток елки? Ведь стрелять вниз куда легче и безопаснее для окружающих.

В еловых лесах, видимо, уже давно не размножалась эта тля, ею поражены только отдельные деревья. Еще не успели появиться и враги вредной тли. На обильной пище количество тлей быстро увеличивается. И придет время, когда елочку станут спасать многочисленные ярко расцвеченные жуки-коровки, личинки изумрудных златоглазок, осы — охотники за тлями.

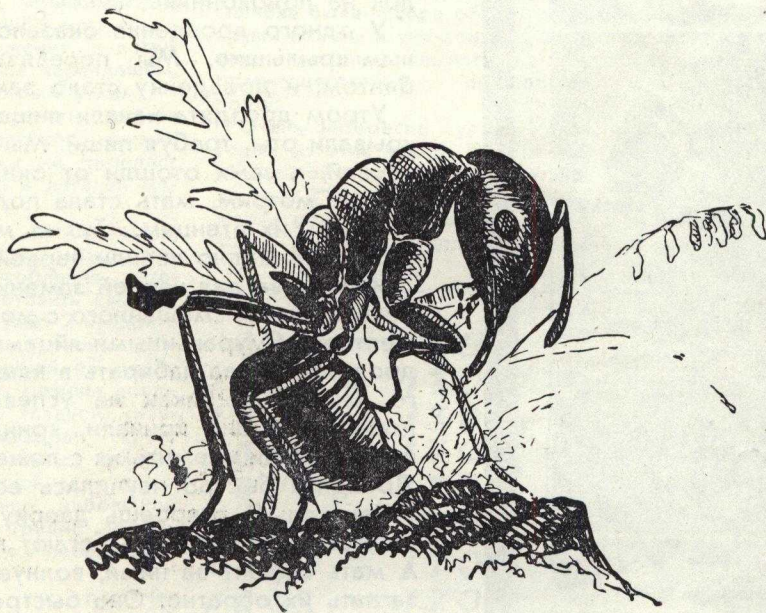
Впрочем, в колонии тлей уже кое-где видны вы-

сохшие трупы с раздувшимся брюшком. У иных же от брюшка осталась только одна оболочка, и на конце зияет большое отверстие. Это начал действовать маленький наездник-афелинус. Он откладывает в тлю яичко, из которого быстро развивается новый наездник.

Кроме муравьев, около тлей крутятся многочисленные крылатые любители легкой наживы, больше всего среди них вороватых мух. Изредка прилетают бабочки-траурницы, почти черные, с белой каемкой на крыльях. Появляются и пчелы. Когда плохо цветут травы, пчелы охотно собирают выделения тлей, и тогда между ними и муравьями разгорается вражда. Мед, собранный от тлей, пчеловоды называют «падевым». Он очень плох и не годится пчелам на зиму.

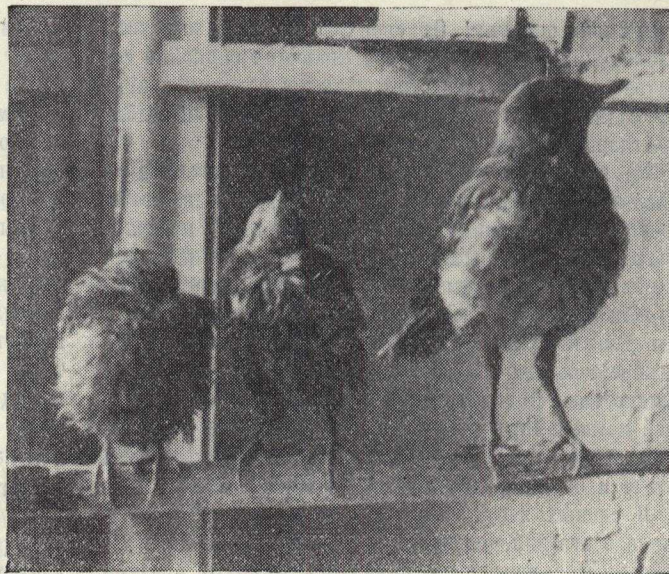
Наглядевшись на тлей, мы слезаем с дерева. Дождик продолжает капать с ветвей ели. Теперь мы ощущаем на губах и вкус капелек: дождик оказывается сладким. Это тли стреляют сверху вниз прозрачными бисеринками. От этого обстрела загорелая кожа моего товарища вскоре становится пятнистой: каждая капелька, высохнув, поблескивает маленьким лакированным зеркальцем.

Прежде чем надевать одежду, приходится у ручья смывать следы сладкого дождя.



Берегисы

Лесная семейка



Бурей сломало в лесу большую ель. С нее упало на землю гнездо с беспомощными, еще не оперившимися дроздятами. Дроздиha-мать летала над ними и тревожно кричала.

Мы, гуляя по лесу, случайно натолкнулись на эту беду. Подобрали птенцов вместе с матерью и принесли домой. Отгородили им уголок на подоконнике.

У одного дрозденка оказалось поврежденным крылышко. Мы перевязали крылышко бинтом, и дрозденку стало заметно лучше.

Утром дроздята начали пищать, широко открывали рты, требуя пищи. Мы подложили им червей, а сами отошли от окна, чтоб не мешать. Смотрим, мать стала подбирать червей и совать их птенцам. Тут и мы помогли ей. Дроздята жадно ловили червей из наших рук.

Через два дня червей заменили кашцей из белого хлеба, смешанного с молоком, яичным желтком и муравьиными яйцами. Но вот беда: дроздиha могла набирать в клюв лишь немного кашицы и никак не успевала накормить птенцов. А они кричали, кричали! Тогда мы попробовали кормить их с ложечки. И что же? Дроздята быстро научились есть с ложечки.

Как только откроешь дверку отгороженного уголка, дроздята выбегают на подоконник. А мать спешит за ними, волнуется, стремится загнать их обратно. Она быстро освоила уголок как свое жилье, привыкла к нему.

А как эта семейка стала купаться, когда им поставили на подоконник тарелку с водой!

На снимках: вверху — семейка устраивается спать. Сбоку — птенцы спят, а дроздиha сквозь дремоту поглядывает на них.

Н. Алексеев



ОТТИСКИ С МОНЕТ

Каждый собиратель монет должен уметь делать оттиски. Для чего это нужно?

Составляя каталог своей коллекции, не всегда можно точно описать монету; очень часто приходится иллюстрировать каталог оттисками.

Коллекционеры часто обращаются за консультацией в музеи или к специалистам, живущим в других городах. Чтобы получить точный ответ, надо всегда высылать оттиск.

Наконец, оттиски нужны при переписке с иногородними коллекционерами (с целью обмена дублетов). Описание монеты ни в какой мере не может дать представления о самой монете, о степени ее сохранности и т. п.

Проще всего сделать оттиск следующим образом: монету накрывают бумагой, прижимают и трут по ней чем-либо мягким до появления изображения, а затем протирают твердым карандашом, держа его под острым углом.

Так можно получить оттиск только с монет плоского чекана, да и то этот оттиск не передаст всех особенностей и деталей монеты.

Безупречный оттиск-эстамп можно получить при помощи специального приспособления, которое нетрудно изготовить самому.

Для этого вырезают 2 квадрата 70×70 мм из листа очень плотной резины толщиной не менее 5 мм. Поверхность резины должна быть идеально гладкой, глянцевой. Каждый квадрат скрепляется 4 гвоздиками с толстой фанерной подложкой (для прочности). Нужен еще небольшой прессик, но если трудно достать его, можно обойтись небольшими тисочками.

Оттиск делают так: листочек тонкой, плотной (но не рыхлой) бумаги 140×70 мм сгибают пополам, чуть-чуть увлажняют его, закладывают внутрь монету, накрывают с обеих сторон резиновыми пластинами и зажимают в прессе или тисках. Через 2—3 минуты разжимают тиски, снимают одну пластину и, дав бумаге подсохнуть, слегка, без нажима,

натирают ее карандашной пылью. При этом надо следить, чтобы после монеты не зачернялось: темными должны быть только изображения и надписи.

Так же обрабатывается и часть оттиска, прилегающая к другой стороне монеты.

О МАРКАХ ОСТРОВА СВ. МАВРИКИЯ

В 1847 году на острове святого Маврикия были выпущены в обращение почтовые марки стоимостью в 1 и 2 пенса с портретом королевы Виктории. По ошибке гравера на них была сделана надпись «Post office» (почтовая кон-



тора) вместо «Postage and Revenue» (почтовый сбор и пошлина). Ошибка была вскоре обнаружена, марки изъяты и уничтожены. Уцелели лишь очень немногие из них, преимущественно прошедшие почту.

Очень интересна судьба некоторых из этих марок. Об их необычайной редкости вскоре узнали все. В конце XIX века такая марка ценилась уже почти в 1000 фунтов стерлингов. Два

британских чиновника разыскали в Индии две такие марки и, надеясь разбогатеть, везли их в Европу под крышкой часов. На пароходе часы украли. Вор вскоре был пойман, но марок в часах уже не было. Оказывается, он, обнаружив марки, не придал им никакого значения и... выбросил их в огонь.

В начале нашего столетия одному филателисту-англичанину его приятель подарил свою валявшуюся на чердаке юношескую коллекцию марок. И в ней вдруг оказалась одна из маврикийских марок! Этот экземпляр марки позднее был куплен королем Англии Георгом V.

Сейчас известно не более дюжины каждой из двух видов упомянутых марок. Они находятся в музеях или коллекциях королей и миллионеров. По редкости и стоимости эти марки уступают только уникальной марке Британской Гвианы.

СЛОВАРИК ФИЛАТЕЛИСТА

(выпуск второй)

Водяной знак — специальный знак на бумаге марки, видимый на свет. Обычно бывает в форме цифр, линий или рисунков. Служит для предотвращения подделки марок.

Гашеная марка — марка, бывшая в употреблении, погашенная штемпелем.

Серия — полный набор марок определенного выпуска, например 3 марки, посвященные советской атомной электростанции, стоимостью в 25 коп., 60 коп. и в 1 рубль.

€3	=	1699
*АΨ	=	1700
*АΨА	=	1701
*АΨВ	=	1702
*АΨГ	=	1703
*АΨД	=	1704
*АΨЕ	=	1705
*АΨЗ	=	1706
*АΨЗ	=	1707
*АΨИ	=	1708
*АΨД	=	1709
*АΨИ	=	1710

*АΨА	=	1711
*АΨВ	=	1712
*АΨГ	=	1713
*АΨД	=	1714
*АΨЕ	=	1715
*АΨС	=	1716
*АΨЗ	=	1717
*АΨИ	=	1718
*АΨД	=	1719
*АΨК	=	1720
*АΨКА	=	1721

Даты на русских монетах, чеканившихся в царствование Петра I, обозначались арабскими или славянскими цифрами. Эта таблица поможет вам определить их.

В часы ДОСУГА

ТАНЕЦ ПОЛЬКА

Вероятно, многие из вас умеют танцевать польку. А не скажете ли вы, какая страна является родиной этого танца и откуда он получил свое название? Не торопитесь с ответом.

Н. Сарваниди

ЗАДАЧА С НОТАМИ

Во время перемены один из учеников написал на классной доске названия четырех нот. Другой прибавил к каждому названию по одной букве. В результате получилось четыре новых слова. Одна нота превратилась в насекомое, другая стала рыбой, третья — большим городом, четвертая — рекой.

Названия каких нот были написаны на доске, и какие слова из них получились?

А. Левшин

ЗАГАДОЧНАЯ НАДПИСЬ

По какой же тропинке идти дальше — по правой или по левой?

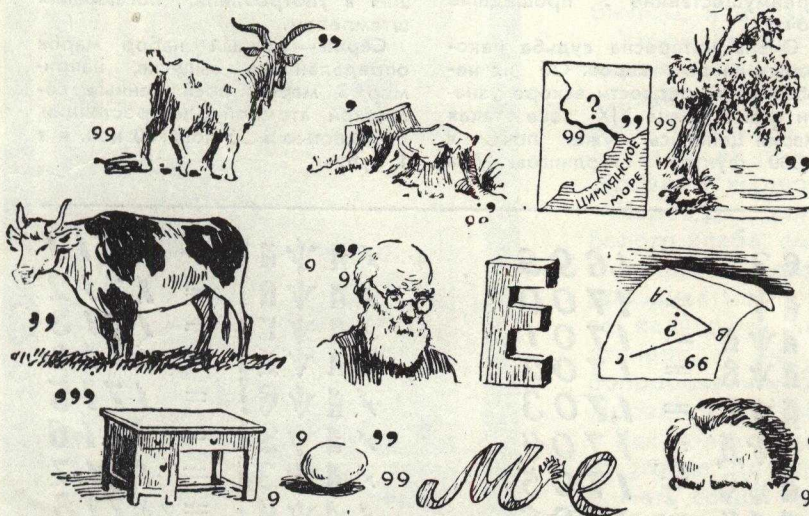
Помогите мальчику, который пошел в лес за ягодами, прочитав эту загадочную надпись на придорожном камне.

Составил Слава Баранов.

Читинская область.



ДВА РЕБУСА В ОДНОМ



Этот ребус необычный. Его можно расшифровать двумя различными способами, и получаются разные тексты.

«Как же это может быть? — спросите вы. — Ведь рисунки-то в нем одни и те же!»

Верно, рисунки одни и те же, да зато запятые неодинаковы. Если вы будете пользоваться только светлыми запятыми, то прочитаете одну поговорку. А если пользоваться только черными запятыми, то поговорка получится совсем другая.

Так какие же это поговорки?

Составил А. Завьялов.

Редколлегия: Ильина Н. В. (редактор), Каверин В. А., Кассиль Л. А., Орджоникидзе В. Н. (заместитель редактора), Орлов В. И., Поддубная В. А. (ответственный секретарь), Прилежаева М. П., Сотник Ю. В., Тимофеева Г. Я., Шмаринов Д. А.

Адрес редакции: Москва, Д-47, улица «Правды», 24, комната 710, тел. Д 3-30-73.

Рукописи не возвращаются.

Технический редактор А. Ефимова.

А 07712.

Подписано к печати 28/VIII 1957 г. Тираж 350 000 экз.

Изд. № 1112.

Заказ № 1446.

Форм. бум. 84 × 108¹/₁₆. Бум. листов 2,62. Печ. л. 8,61.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина,

ЧИТАЙТЕ КНИГИ ПО ГЕОГРАФИИ

- АРСЕНЬЕВ В.— **ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ТАЙГЕ**. Географгиз. 1957 г. 288 стр. Цена 7 р. 45 к.
- БАРАНОВ П.— **В ДАЛЕКОЙ АФРИКЕ**. Детгиз. 1957 г. 160 стр. Цена 4 р. 50 к.
- БАУЭР Р.— **КНИГА О СЛОНАХ**. Рассказы о природе. Географгиз. 1957 г. 152 стр. Цена 2 р. 70 к.
- ГОНЧАРОВ И.— **ФРЕГАТ «ПАЛЛАДА»**. Очерки путешествия. Том 1. Гослитиздат. 1957 г. 320 стр. Цена 6 р. 25 к.
- ГОНЧАРОВ И.— **ФРЕГАТ «ПАЛЛАДА»**. Очерки путешествия. Том 2. Гослитиздат. 1957 г. 467 стр. Цена 8 р. 25 к.
- КАРПОВ Г.— **ЧАРЛЗ ДАРВИН**. «Замечательные географы и путешественники». Географгиз. 1957 г. 46 стр. Цена 70 коп.
- КОЛОБКОВ Н.— **ВОЗДУШНЫЙ ОКЕАН И ЕГО ЖИЗНЬ**. Издание 2-е, переработанное и дополненное. Географгиз. 1957 г. 256 стр. Цена 6 р. 45 к.
- МЕРКУЛЬЕВА К.— **ПРОИСШЕСТВИЯ ПОД ВОДОЙ**. Детгиз. 1957 г. 104 стр. Цена 3 р. 60 к.
- МИКЛУХО-МАКЛАЙ Н.— **ПУТЕШЕСТВИЕ НА БЕРЕГ МАКЛЯ**. Географгиз. 1956 г. 416 стр. Цена 9 р. 45 к.
- РОЖДЕСТВЕНСКИЙ А.— **ЗА ДИНОЗАВРАМИ В ГОБИ**. Географгиз. 1957 г. 216 стр. Цена 3 р. 20 к.
- ТРЕШНИКОВ А. и ПАСЕЦКИЙ В.— **СОЛОМОН АНДРЭ**. «Замечательные географы и путешественники». Географгиз. 1957 г. 48 стр. Цена 70 коп.
- ЯКОВЛЕВ А.— **РУАЛ АМУНДСЕН. 1872—1928**. «Жизнь замечательных людей». Издательство «Молодая гвардия». 1957 г. 224 стр. Цена 4 р. 75 к.
- ЯКОВЛЕВ Г.— **376 ДНЕЙ НА ЛЬДИНЕ**. Детгиз. 1957 г. 190 стр. Цена 4 р. 05 к.

Все эти книги можно купить в магазинах Книготорга и потребительской кооперации.

ГЛАВКНИГОТОРГ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СССР



ВОЗВРАЩЕНИЕ «ПУ-1»

Рисунок П. Сыроежкина.



Вы, конечно, помните, ребята, какие приключения испытали изобретатели «ПУ-1» Олег Удальцов и Вова Промокашкин на волнах океана и как им удалось не только превратить свой вертолет в парусное судно, но и запрячь в него акулу.

После этого долго не было вестей от наших путешественников. И вот наконец они сами! По-видимому, «лошадиных сил» у акулы оказалось немного. Пришлось снова превратить «ПУ-1» в вертолет. Целая стая летающих рыб пришла на помощь мотору: ведь ребятам надо было торопиться к началу занятий в школе.

И, как видите, они прилетели вовремя.